



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохраняются все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отключайте автоматические запросы.
Не отключайте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.


We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

XP
5356

WIDENER

HN HX9G T





HARVARD
COLLEGE
LIBRARY

46

K 3.60

ІВАН ФРАНКО.

46

НА ЛОНІ ПРИРОДИ

І ИНШІ ОПОВІДАННЯ.



У ЛЬВОВІ, 1905.

З друкарні Наукового Тов. імени Шевченка
під надзором К. Беднарського.

XP 5356
✓



74 * 1

З М І С Т.

	стор.
На лоні природи	1
Микитичів дуб	15
Яндруси	34
Дріяда, уривок із повісти	56
Щука	77
Odi profanum vulgus	87
Мавка, літня казочка	118
Під оборогом	126
Мій злочин	151
У столярні, із моїх споминів	161
Поєдинок, зимова казка	186
Поки рушить поїзд	192
Сойчине крило. — Із записок відлюдка	199

На лоні природи.

Бистро шумить і грізно беть ся о каміне ріка Стрий, перепливаючи срібною гадукою в три скрути невеличке гірське село Н. А понизше села четвертий, найкрутійший скрут. Ріка перexoпила півперек усю вузьку долину, на якій лежить село. З одного боку беріг пологий, ринь та мізерна левада, з другого гора так і нависла кам'яними ребрами над рікою, а вода з усею силою беть ся о ті ребра і гризе-гризе їх до споду, крутить ся, а далі втишуєть ся, заспокоюєть ся і творить широкий, глубоченний вир. Синієть ся тут прозора вода, гуляють по ній червонопері клені та швидкі плотиці, палаючи іскрить ся сонце та сліпить очи.

Повисше вира Стрий розлив ся широко, за те й мілкий там брід, яким іде й громадська дорога до Н. Хто хоче їхати до села з низу, мусить через той брід. Літом, коли вода мала, то воно й нічого, ледви по колодки засягне, а коням лиш троха повисше колін. Але коли вода велика після дожджу, то не дай Господи туди пускати ся! Не то що вода глибока на броді, але бистра така,

рве каміне з під ніг, котить камяні брили з гори і дуже легко може перевернути віз. А в такім разі прощай ся з душею! Понесе просто в вир. Правда, перед виром стоїть скісно поперек усеї ріки ряд великого каміня: немов здоровенні барани гуськом через воду йдучи полягали тай закаменїли, а об їх хребти гнївно беть ся хвиля та вкриває їх величезними шапками білої піни. Але в повінь того каміня не видно, тільки страшенний шум і клекіт дає знати, де воно лежить, а як вода ще більша, то вже без шуму котить ся поверх нього, тільки один одноцільний водяний вал, а понизше такаж водяна долина з гребенем піни означають те місце, немов поріг при вході в бездонний вир.

Одного прекрасного літнього дня високо вже підбило ся сонце над тісною Н-ською долиною; високі гори довкола, покриті чорним смерековим лісом, немов дримали на спеці, дихаючи горячим смоляним запахом. Село оддалік тонуло в якійсь синій памороці. Від ріки тягло сьвіжим духом, холодною водяною парою. На верхах гір лисих та ясно-зелених пестрим рядном порозкидали ся турми овець; тужливо і протяжно лили ся звуки вівчарської трембіти, лунаючи від верха до верха. З темної лісової гущавини на той звук відкликаєть ся инший, різкий голос — то ріг скотаря, а в перестанках, мов тонесенька струна десь глибоко під землею ледви чутно зазвенить — то металевий дзвоник на шиї у корови, що десь у лісі на плау пасеть ся. І все те, бачить ся, зовсім не перериває великої тиші, не бентежить супокою природи. Тільки Стрий не то шумить, не то журчить принадливо, котячи по каміню свої кришталеві води, — так, бачить ся, і просить тебе ску-

пати ся в своїх хвилях, осьвіжитись і набрати ся нової сили.

Не в якій иншій, а в такій власне ціли йшли до вира два молоді, сьвіжі й веселі панички в ясных, літніх жакетиках та в соломяних капелюхах з невеличкими, рівними крисами та з широкими трибарвними стяжками, що опоясували трохи не весь наголовач. У старшого за ту стяжку заткнуте було сойчине крило, у молодшого якась немудра, але рідка гірська квітка, трохи чи не той приземистий полонинський будяк, що зветь ся головатень і в день розпускає свою білу з великих невянучих платків квітку, а на ніч затулює її. У кожного на плечі закинений був рушник, а у старшого, літ коло сімнацяти парубчака, також гарна, блускуча стрільба Лефонівка. Йшли вони звільна, розглядаючи ся, хоч очевидно кождий глядів за чим иншим.

— Що за чудесний вид! — мимоволі скрикнув молодший панич. Він був роком молодший від свого брата, хоч ростом майже зовсім догонив, коли навіть не випередив його. Очи його розбігали ся по неширокім, але роскішнім гірським краевиді, від тих овець, що немов красими рядами накидані були по полонині, аж до синього кришталевого плеса вирового, що лежало перед ними і відбивало в собі і скісними пластами настобурчені сірі та червоні скелі, і стежечку, що вила ся поверх них понад усею кручею, і темний бір, що підіймав ся ще висше над скелями і по стрімкому склоні гори пняв ся та підхапував ся чим раз висше аж під саму полонину.

— Що за чудесний вид, — повторив хлопець по хвилі, і широко, з повної груди дихнув пречистим повітрям, насиченим теплою парою, розігрітою в лісі живицею та пахонцями цьвітів

і скошеної десь на лісовій полянї трави. Він, бачилось, бажав усім своїм еством нассати ся тої краси, свіжости та живучої сили, якою тут дихала вся природа. Тим часом його брат бігав бистрими, синїми очима по рїнистій порїчинї, немов шукав чогось. Нараз став і зупинив брата.

— Пст, пст, стій, не рушай ся!

— Що таке? — запитав молодший.

— Кулик, кулик, он там між камінем шниряє!

Він зняв стрільбу, наготовив її до вистрілу і почав підходити пташку. Але кулик мабуть не дурень був, бо хоч ніби й не дуже втікав, а так тільки бігав собі поцьвіркуючи та головою потакуючи, але все ховав ся по за настобурчене каміне так, що стріляти до нього було ніяк.

— Проклята бестія обережна! — прошептав зі злости панич.

— Та покинь ти його! — заговорив молодший. — Охота тобі тратити набої на таку дробину! От ходи, викупаємось, а опісля ліском підемо, та на поляну, та в ярк, то там певно щось більшого буде!

Але старший не слухав навіть тої бесіди, а тільки сердито та нетерпливо кивнув на меншого рукою і далі з приложеною до лица кількою стрільби слїдив за куликом.

— І Бог його знає, що то за приемність мордувати таку бідну та нешкідливу пташину, — говорив тимчасом молодший на пів до брата, а на пів сам до себе. — От каню, яструба, орла, то що иньшого, до того я й сам охочий вистрілити. А то кулика! Ні з того пожитку, ні приемности. Мундзю, покинь! Ходи! — крикнув він голоснійше, бо брат слїдячи за куликом досить таки далеко в низ понад ріку відбіг був від нього. Не знати, чи той крик, чи щось инше

сполошило кулика, досить що нараз він схопив ся і понад саму воду перелетів на другий бік Стрия.

— І чого ти гайвороне кричиш? — обрушив ся Мундзьо на меншого брата. — Бач, птицю сполошив! А я вже от-от мав вистрілити!

— Овва, велика здобич! І на що би вона тобі здала ся, хоч би й забив?

— А тобі що до того? На те, щоб забити! Коли бо ти ні, — аби тільки мені на злість зробити! Крикнув тай наполошив.

— Агій на тебе! Ще хто знає, чи я й наполошив, а він уже аж почервонів, так розлютив ся! Фе, Мундзьо, не гарно таким бути!

— Мовчи, дурню! — крикнув Мундзьо. — Що то, хто з нас старший, я чи ти? Яким правом ти будеш мене розуму вчити?

— Ну, ну, ну, гамуй ся, гамуй ся! Я тому не винен, що ти старший і такий дразливий. А ти вже зараз і: дурню! А що, як би я взяв тай розсердив ся на тебе? Бо скажи по правді: який я в тебе дурень? Хоч ти роком старший від мене, але оба ми разом матуру здали, і ся тільки між нами різниця, що я маю п'яту льокацію, а ти п'ятнац'яту.

— О, вже мій Тоньо почав на своїх льокаціях їздити! — сердито буркнув Мундзьо і відвернув ся.

— Ні, ані не думаю їздити, а тільки кажу, що як би я був такий, як ти, то мав би право нагнівати ся на тебе. Але я не гніваюсь, бо знаю, що ти се так сказав, спалахнув тай ляпнув!

Мундзьо йшов відвернений, а при остатнім слові брата навіть плюнув і пробуркотів:

— Тьфу! П'ята льокація й «ляпнув». Що то за естетичне, що за гарне слово! Ляпнув!

— Ну, то нехай тобі буде: бовтнув!

— Ще красше. А ну, ще як инакше!

— Ет, тобі бо не догодиш! — на пів по-важно, а на пів жартом сказав молодший. — Коли хочу докладно висловити те, що думаю, то мушу ж ужити такого слова, яке на мою думку найвідповіднійше.

— О певно! І саме найвідповіднійше: ляпнув! Ха, ха, ха!

— Ха, ха, ха! — засьміяв ся і собі молодший, рад, що хоч таким способом прогнав хмару з чола старшого брата, з яким хотів у добрій злагоді викупати ся і пройти ся по лісі, поки до обіду.

Поєднавши ся після невдалого польованя на кулика, брати якийсь час ішли мовчки. Вони звернули з дороги, що вела в брід ріки, і пішли стежкою по над беріг. Стежка була добре втоптана, — се була піша дорога через ліси та верхи правцем до Дрогобича. Вона вила ся в гору та в гору, по під ліс, височенною кручею по над виром Стрия, а там перебігнувши невелику цвітисту сіножати губила ся в темнім смерековім борі. Паничі на тій сіножати покинули стежку і подали ся в низ стрімким берегом над ріку. Тут круча була вже низша, але все таки ще досить висока. Над самою водою висіла тут величезна скала, немов хата, вся вросла в камяну кручу, і тільки одним причілком вистирчала над водяну глибіню. Тільки що вершок тої скелі був рівний, мов величезний стіл. З берега по над тим столом звисали корчі ліщини та калини обпутаної диким хмелем, тиснуло ся бадиле високих гірських допучів з білявим листем, дендерева, девятосильнику та ще якогось високостеблого зілля з пучками здорових жовтих квіток на верхку. З поміж них проглядували струнки та високі стебла мушки та

инших трав. Одним словом, куточок тут був захищений і так щільно захищений, що ні зі стежки ні з левади в низу не було його видно. Тоньо на однім із своїх природничих проходів відкрив сю скалу, і від тоді кам'яний її стіл став ся улюбленим місцем обох братів. Тут вони роздягали ся до купелі, з відси скакали з на півтора сяжні в низ у ріку, силуючи ся дістати ногою до дна води; тут Тоньо найліпше любив сидіти з вудкою і ловити рибу. Побіч скали, тісним кам'яним жолобом брати протоптали маленьку стежку, куди після купелі вилазили з води в гору; тудиж Тоньо й злазив, коли часом закладав у воду вершу на рибу, або в каламутну воду запуслав узьмик.

— Гляди, гляди, який кленище! Уй-уй! Певно з на локоть задовжки! Ну, тай грубезний же! — прошептав Тоньо, стискаючи брата за рамя, коли оба стали на камені і поглянули в низ у воду. По самій поверхні гладкого, кришталевого зеркала звільна, поважно плила ціла череда невеличких кленів, а поперед неї мов патріарх один здоровенний клень, якого рідко удасть ся рибакам видобути з глибоких, скалистих печер, у яких він живе.

— Ет! — сказав зразу з легковаженем Едмунд, але коли поглянув і сам побачив таку незвичайну рибу, пробудила ся в ньому мисливська жилка.

— Подожди, — прошептав він до брата, — я його застрілю. У мене стрільба набита, зараз буде наш.

— Не застрілиш! — шепнув Тоньо. — Шпріт відбиваєть ся від води.

— Не бій ся, не відібеть ся. Не бачиш, як він верхом ходить, аж хребтове крило поверх води

виставляє. Я йому туди щоб хоч одно зерно шроту впакував, то певно буде наш.

Едмунд хвилюк прицілився й стрілив. Ревнули гори п'ятикратним відгомонам від вистрілу, бовтнулись у глибіню переполохані клені, тільки великий патріарх мов скажений почав крутитися по версі, метати ся в ріжні боки, то поринаючи в глибіню, то знов виринаючи та хлипаючи раз по разу виставлюваним аж над воду ротом.

— Наш, наш! — радісно закричали оба брати і швидко кинулись роздягати ся, не спускаючи з очей незвичайного звіря.

— Гляди, куди він попливе, щоб дебудь у печеру не запахав ся! — кричав Тоньо, скидаючи жакет і камізельку за одним разом.

— Дивись, дивись, де він, мусимо його зловити! — кричав Мундзьо, скидаючи таки стоячи черевики.

— Пішков на дно! Нема! Не видно! — сумно говорив Тоньо.

— Он там, он там знов підійшов, — радував ся Едмунд, скидаючи сорочку. Ніжне, біле тіло як чистий алябастер заблищало на сонці. Хлопець крихітку здригнув ся, коли його обвіяв сьвіжий надрічний вітерець, але зараз скочив на край скелі, підняв у гору руки і зложив до купи долоні високо над головою, лагодячи ся скочити у воду.

— Стій, стій, не скачи! — скрикнув Тоньо також уже зовсім роздягнений, — а то він перелякаєть ся і зовсім утече.

— Куди має втікати, коли пострілений?

— Адже бачиш, що мабуть легко пострілений, коли так дуже кидаєть ся. Ходімо стежкою в низ і легенько вплинемо на серед води, то може й заженемо його на брід і зловимо.

А клень мов скажений кидав собою посеред вира. Брати що духу зісковзнули ся в низ по вохкій скальній жолобині над воду і по тихо, Едмунд передом, а Тоньо за ним, поплили туди, де бовтав ся клень. Одно-однісіньке зеренце шроту попало йому в нутро, але не прошибло пухиря; риба дуріла з болю, але не швидко мусіла подохнути.

— Сюди! сюди! Маю його! — крикнув Едмунд, ухопивши кленя обома руками. Клень заплюскотав і забовтав ся страшенно, і Едмунд не можучи вдержати його одною рукою, а не хочачи випускати, потонув ураз із ним у глибінь.

— Мундзю, Мундзю! — скрикнув переляканий Тоньо, але Едмунд не чув уже того крику. Тоньо бачив, як він у глибині боров ся з міцною рибою, таки не хочачи пустити її з рук. Без наміслу пішов він нурця, щоб допомогти братови, коли в тім бачить — клень вирвав ся з Едмундових рук і погнав стрілою до берега, але Едмунд не впливав на верх. Що се таке? Чи зір омилює його, чи таки справді Едмунд мов камінь усе низше й низше спадає на дно? Тоньо бачить, як брат немов у одчаю махає руками, але се нічого не помагає йому. Смертельна тривога проняла хлопця; він пригадав собі, що Едмунд часом дістає корчів у нозі, і що в воді такий корч чинить чоловіка зовсім бозвладним. Що тут діяти? Тоньо був добрий пливак і за себе не бояв ся, але чув, що потопаючий може легко враз із собою потопити й найліпшого пливача, коли незручно взяти ся до його ратованя. Правда, у Едмунда волосе було досить довге, а за волосе найліпше ратувати. Але що, коли він ухопить ратуючого брата руками і потонуть оба? Та дарма! Не було часу роздумувати, — Тоньо зібрав усю

силу і дав нурка. Не швидко здужав він дійти аж до дна, куди тільки що впав зомлілий і напів уже неживий Едмунд. Він уже не махав руками. Тоньо вхопив його за волосе і одним скоком витяг на поверхню води, а потім піддержуючи лівою рукою його голову над водою, а правою рукою веслуючи, доплив щасливо до протилежного, рівного берега.

— Мундзю, Мундзю! — кричав він поклавши посинілого брата на ріни, але Мундзю не озивався, лежав мов неживий. У страшній трівозі почав Тоньо трясти братом, обернув його лицем у низ і почав терти кулаками крижі, то знов пробував лоскотати по під пахи, але нічого не помагало. В кінці зачав лоскотати його в підощви і — о радість! — Едмунд ворухнув ногою.

— Живий, живий! — крикнув урадуваний хлопець.

— Мундзю, братіку! Прокинься! Озовись! — кричав він над вухом брата, не покидаючи що сили терти його груди й виски. В кінці Едмунд отворив очі і сів.

— Що зо мною? — прошептав він, важко переводячи дух.

— Ну, слава Богу! Слава Богу! — проговорив Тоньо.

— Що зо мною було? Як мені погано, — шептав Едмунд слабим голосом. — Ах, — скрикнув нараз і схопився на ноги, — тепер пригадую! Той проклятий клень потяг мене в глибіню. Я не хотів пустити його. В тім нараз корч хопив мене в обі ноги. Ой! Як я перелякався, коли почув, що тону і не можу виплисти! То я топився, Тоню?

— А вжеж, що топив ся! Вже й на дні лежав, посинілий як боз.

— Боже мій! І ти виратував мене?

— Ну, се й справді слава Богу, що виратував. А то думав, що вже по тобі.

— Братіку! — скрикнув Едмунд і кинув ся обіймати та цілувати Тоня.

— Ну, ну, нема за що дякувати, сеж обовязок, Мундзю, тонучого ратувати. Се кождий повинен зробити.

— Повинен! Се так, не перечу. Але чи кождий зробить? І тиж не бояв ся, щоб я й тебе з собою не потяг на дно? Аджеж знаеш, се лучаєть ся.

— Бояв ся, та не час було думати про те, коли бачу, як ти мов камінь ідеш на дно! Та що про се й говорити! Слава Богу, що минуло ся!

— А щож клень? Де він?

— Е, нехай йому цур та біс! Нехай його раки жруть, проклятого! Через нього ти мало смерти не пожив.

— Ну, отсе то й гарно було б, як би я його так і покпнув, — скрикнув Едмунд.

— Мало смерти не пожив, а кленя таки не дістав. Ні, сього не буде! Вже коли на те пішло, то він мусить бути наш.

— Га, то ходім, пошукаймо! — сказав Тоньо.

Не далеко треба було й шукати. Клень як поліно качав ся по при беріг, звільна вже крутячи ся та широко хлипаючи зівами. Едмунд взято, з лютістю кинув ся на нього, захопив за грубу голову і викинув на беріг. Потім скочив за ним, ухопив камінь і що сили відбив його в голову.

— А! от тобі за твое! — крикнув він і його лице разом посатаніло, немов у нього під руками його смертельний ворог. — На! От тобі! І ще! І ще! — І Едмунд бив, кидав та ногами.

топтав ту блискучу, сріблясту рибу, що в остатніх судорогах пицала та з відчаєм хлипаючи кидала ся по піску. З її рота виступала кров змішана з водою в виді кровавої піни; удар каменем розбив їй одно око.

— Мундзю! — крикнув з докором Тоньо, — що се ти робиш? Чи ж то годить ся лютувати над бідним сотворінем?

— Ага! бідне сотворіне, — кричав задиханий Мундзю не перестаючи катувати кленя. — Бідне сотворіне, а мене на дно потягло! Ні, замучу до смерти. Най знає.

— А леж братіку! Уважай, що й воно перед хвилию було живе, здорове, веселе, гуляло собі і жити йому хотіло ся, аж тут нараз бух! Нещасте паде на нього! А джеж і воно хотіло жите своє ратувати. Чим-же воно винно? Не воно тебе зтягло в безодню, а ти його.

— Ні! — скрикнув Едмунд, — Я через нього тонув! Через нього! Не дарую йому! Се мій ворог і я вбиваю ворога! Гинь, собако!

І з тим словом він ще раз ударив кленя в голову так, що той тільки раз іще стрепенув ся і протяг ся непорушо.

Тоньо не міг дивити ся на се братове знущане над бідною рибою. Він кинув ся в воду і поплив на середину вира.

— Готов! — скрикнув Едмунд, — тепер не втече! На-ж тепер його тобі!

І розмахнувши рибою кинув нею мов поліном по воді. Тоньо підплив і вхопив кленя, перепливав на другий бік, поклав його на беріжку в холод, прикрив лопухами, і знов поплив до брата.

Едмунд усе ще стояв на березі, голий, тремтячи всім тілом, мов від простуди. Його лице було бліде, зуби дзвожили мов у лихорадці. Ота пім-

ста над нещасною рибою була якимось несвідомим відрухом його глибоко потрясеного організму; той смертельний жах, який він почув був тонучи на дно вира, вибух тепер сим жорстоким учинком. Та потім його місце заняло якесь знесилене, обриджене до води і до всього окруження. Тоньо швидше опанував своє зворушене і обернув ся до нього зі своїм звичайним, лагідним усміхом.

— Ну, щож, підеш до води купати ся?

— Нехай їй чорт, тій воді, — сказав Едмунд, — гидко мені на неї й дивити ся! Аджеж там на дні смерть сидить! Мені вже в очи заглядала!

— Ну, се винадок! Сього більше не буде. Ходи!

Але Едмунд почув рапром страшну відразу від води, звичайну у всіх, що топили ся. Ледво-не-ледво наклонив його Тоньо, щоб хоч при березі обмив ся з піску, що поналинав на ньому. Ще труднійше було наклонити його — переплисти на другий беріг, де лежала одіж. Усе тіло його проймала дрож, коли вступив по пояс у воду, і ні за що не хотів пустити ся плисти, поки Тоньо не взяв ся плисти тутже біля нього, щоб у разі чого зараз ратувати його.

— Ну, чорт її побери, твою воду! — сказав він на другім боці, січучи зубами. — Чорт її бери з її рибами і всім! Не хочу ані знати ані бачити її! Остатній раз сьогодні в ріці купав ся, та й ще в такій скаженій, як отся!

— Відний Мундик, — сказав усміхаючися Тоньо. — Ну, тай нагналаж вона тобі страху, не приведи Господи! Та тільки я думаю: не зарікай ся! Хто знає, яка прийде потреба! А коли часом потопаючого побачиш? Усі заріканя на бік, а кинеш ся тай ратувати меш.

— Хиба-би сестру... маму, тата тай — ну, тай тебе! А більше нікого. Навіть Густка ні!

— Ха, ха, ха! От добрий брат, і старшому брату готов дати втопити ся. Ну, Мундзю, сього я по тобі не надівав ся.

— От велике діло! Знаеш, як казав Кохановский: *Nie spodziewałem się tego — słowo jest czleka głupiego!* Що ти не надівав ся, то ще не рація, щоб я видав ся, карк ломав, аби ратувати інших, а ще таких, що мені до них з роду-віку байдуже. Хто знає, ти може надівав ся, що я й ворога свого ратувати-му?

— Ну, певно — сказав поважно Тоньо.

— Ніколи! — пристрасно скрикнув Едмунд і поліз у верх жолобиною на скалу одягати ся.

Тоньо замовк. Йому якось важко зробило ся після сеї розмови з братом. Він переплив іще раз півперек вира, обмив ся добре і також виліз із води. Самому не хотілось купати ся. Він узяв із собою на гору й убитого Едмундом кленя, що вже задубів і лежав з широко роззявленим, кровавим ротом і з вибалушеними, також кровавими очима, немов наставив ся кричати з страшного болю і в тій хвилі захоплений був наглою смертю. Едмунд скинув оком на рибу, і йому зробило ся так якось погано, не то стидно, не то боляче на душі, що він увесь затремтів і відвернув ся.

— Тьфу! — шепнув він, — заверни сю прокляту рибу в яку хустку, або хоч у лопух, нехай не дивлюсь на її роззявлену хавку. Гидко!



Миқитичів дуб.

Давно се було. Не тільки часи ті, але й спомини про них замеркли вже в душі. Часом тільки, мов блискавка крізь пітьму, проблиснуть ті давні хвилі і навіють невимовну тугу на серце. Вони міняють ся, мерехтять, радість, страх, сьміх і сльози переплітають ся в них, а пам'ять ледво може з тих поуриваних, безладних спогадок зложити живу, правдиву картину.

Я бачу себе маленьким, п'ятилітнім хлопчиною посеред цілої юрми таких самих крикливих, веселих як і я сільських хлопят. Літо. На дворі тепло, сонце силе огнем із погідного неба, але ми заняті забавою під шопою, в холодку, не чуємо спеки. Далі всі ми побігли на обору, попередлазили через перелаз (деякі навіть мов миши попередлазили ся крізь діри в плоті) до сусідного, Миқитичевого саду. Тут дерев багато, холодно, і зїля всякого мов на пастівнику, і побігати є куди. Як ми любили бігати та бавити ся в тім саду! Але одно було в нїм найцікавіше для нас і найпринаднійше, се величезний, з на сяжень у промірі грубий, високий і дуже конаристий дуб, що

немов зелена, кругла баня виднів ся з далека над нашим маленьким селом. Він стояв коло самої дороги, припирав до плота, і там у куті, немов діти сховані за вітцем, росли довкола його величезного пня широколисті лопухи, кропива та подорожник. Але з переднього боку, від стежки, місце було гладко витоптане, — тут ми найліпше любили ховати ся перед дождем, мов під безпечну стріху, тут були супокійні, бо місце було як раз на серед саду, одалік від хат, так що ніхто на нас не сварив за крик або занадто охочу біганину.

А предметів до забави і місця до бігання було тут багато.

— Ану, хлопці, ланцюхи плести! — кликне один, і зараз уся юрма розбігаєть ся по саду і рве подорожники, відриває цвіти, а з м'яких рурковатих стрілок робимо довгі-довгі ланцюхи, все досилюючи більше і більше огнив, поки долішні не розірвуть ся від тягару всеї маси. Обвішаємо ся тими ланцюхами від ніг до голови, поспутуємо ся ними до купи в колесо і в ряд, і біжимо, біжимо доріжкою в низ садом, аж високі головки буряну та широке листе лопухів шевелить ся за нами.

— Гей, гудзиків давайте! Що то, ми не жовняри? — кричить один, і всі покинули порозривані ланцюхи і пнуть ся між грубі лопухи, пригинають їх гильки і обривають головастий, гачковатий цвіт білявої, оловяної барви, який так легко чіпляєть ся одежі. Ось з криком несуть у капелюхах цілі купи головок, сідають рядом під дубом на землі, а один припинає кождому за чергою по кілька гудзиків до пазухи і кожного наминає. »А добре мені справуй ся! Тепер ти оськовий!«

Вже гудзики поприпинані. »Еб-тех!« кричить комендант — і всі встають. »Бігаць!« комендереу далі, а сам пустив ся наперед, а за ним увесь ряд знов з криком летить у виз садом, затискаючи руками капелюхи на головах...

Але ось ми потомлені від довгого бігання.

— Ходіть сідати! — говорить дехто слабший, задиханий, почервонілий від спеки і втоми.

— Почекайте, і я зараз прийду! — кричить Митро.

— А ти куди біжиш? — кричимо за ним.

— Ідіть, ідіть сідати, я вам щось принесу, таке гарне!

Ми посідали, віддыхаємо і ждемо Митра. Се був син Мельникової Анни, що коморувала в Микитича зі своєю молодшою сестрою, яку ми діти звали Напудою — така звичайно ходила понура, гризка, розстрепіхана, нечесана та немита. Мати Митрова і Напуда були чужі в селі: ми не знали, відки вони прийшли до нашого села. Вони пробували по службах по сусідніх селах, поки в старшої сестри не вродив ся хлопець. Тоді вона пішла до Дрогобича і наняла ся за мамку у Жида, а Митро ріс десь на вихованню в однім підміськім селі аж до пятого року. Тоді його мати покинула служити в місті і прийшла в наше село враз зі своєю молодшою сестрою та впросила ся до Микитича на комірство за відробіток. Ми хлопці нераз наслухали ся дома багато бесіди про Мельникову Анну, — а навіть до Митра чули якесь потаємне обриджене за те, що він був байстрюк, а його мати служила у Жидів; оттим то ми й його вважали немо напів Жидиком.

При тім сама постава, вдача і лице Митра, все те надавало йому якусь дивну ціху, відрубну від иньших сільських дітей. Малий, підна лоні природи.

садкуватий, чорний на лиці, з великими, витріщеними очима без блиску і живости, він звичайно був найтихійший у нашій громаді, бігав поряд з иньшими немов з мусу, при перегонах усе лишав ся на самім заді, при всім і всюди держав ся якось з боку, немов знав і чув сам, що він тут не свій, що тут не радо приймають його. А про те ніколи не відставав від нас, — тяг ся всюди, куди ми бігли, хоч по всьому видно було, що наші забави не дуже бавлять його. В усій його вдачі й бесіді було щось повільне, розлізле, забудьковате, він усе виглядав мов прибитий і сонний, і се ще більше відпихало нас від нього. Але неприязни та сварки з ним у нас не було ніколи. Ні в чім він не супротивляв ся, що робили иньші, те й він, а в жадного з нас не було ніколи на стілько сьмілости ані серця, щоб зачепити, зобидити його. Так він і плентав ся поміж нами і по найбільшій часті ми серед голосних дитинячих забав і зовсім забували про Митра, хоч тут таки посеред нас і він крутив ся, сопів та дивив ся на нас своїми чорними, немов скляними очима.

Але часом, коли всі ми помучили ся і сиділи тихо, віддихаючи дебудь у холодку, Митро нечаяно немов оживав, починав оповідати нам казки, а все такі страшні та понурі, що нераз не один менчий слухає, слухає його, мов причарований, і ні з сього ні з того розплачеть ся. В таких хвилях, коли довкола, всі сиділи тихо і трівожно слухали оповідання, коли закляті царі, нещасливі діти, казочні зьвірі та палаци пересували ся немов живі поперед очима дітей, Митро оставав ся все однаковий і говорив таким рівним та холодним голосом, що нам від того голосу ставало ще страшнійше, і ми в білий день ми-

моволі тисли ся одно до одного, не сьміючи одначе перервати Митрову бесіду. І що найцікавійше, Митро говорив таким поважним тоном, описував усякі дива так докладно, зупинював ся на всякій дрібниці так довго, немов усі ті страшні історії сам бачив та пережив. Часом і пісні співав, але ті пісні, звичайно якісь короткі, однотонні уривки, морозили нам кров у жилах; ми блідли, дрожали і не сьміли рушати ся, слухаючи його глухого, не зовсім приемного голосу.

— Відки в тебе такі співанки та байки?
— питали ми нераз.

— Тітка навчила, — відповідав коротко Митро.

Се він про Напуду говорив.

І тепер ми сиділи мовчки, чекаючи Митра. Ось він волоче ся повільно горі садом і несе в руці кілька галузок »песього молока«, за яким, видно ся, бігав аж у низ берегом над потік, де на піску росли його цілі купи.

— А ти нащо се нарвав? — крикнув до нього один хлопець. — Кинь се геть, то нечисте зіле. Татуньо казали, що сього не годить ся рвати.

— Тихо! — відповідає холодно Митро. — Сідайте довкола, щось вам покажу.

Ми посідали довкола, а Митро в середині.

— Ви знаєте, що в тім зілю в середині?

— Песе молоко, — відповіли ми. — Ади, лиш розірви галузку, зараз потече.

— Ні, се не песе молоко, — відповідає поважно Митро, — се кров.

— Чия кров?

— То був такий кріль і мав три сини. А кріль поїхав на війну, а сини були маленькі ще, а при них лишила ся лиха мачуха. А кріль каже

до неї: Памятай мені, абись мені моїх синів доглядала, абись їм давала молока та хліба пшеничного з медом, бо як верну а їх не застану, то біда твоя. А як той кріль поїхав на війну, то був там три роки, а як прийшло ся вертати назад, то він їде через міст, а на mostі його кінь спотикнув ся і зломив собі ногу. А кріль став тай каже: Ов, щось буде зле. Певне вже нема моїх синів. Але тут чує, з під моста співає щось :

Виїдь, виїдь, крілю,
На червонім коню!
Твої сини порубані,
Під тим мостом закопані.

Кріль зазирає під міст — нема нікого, тільки на однім місці, на піску поросло багато зіля, — от такого. Кріль зачав те зіле рвати, а з нього зачала капати кров. То тоді кріль пізнав, що се його синів кров, і заляв те зіле. »Зіле, зіле, — каже, — не показуй ти людям, що се кров у тобі, але показуй, що молоко«. І від тоді як хто вирве се зіле, то йому здаєть ся, що то в нім молоко, а тото кров. А дивіть, я вам зараз покажу, що то кров.

Ми тремтіли і дивили ся на Митра. Він узяв тонесеньке сухе стебельце, зігнув його в маленький, подовгастий перстїнь, і послинив так, що слина стала плівкою на цілій дїрці перстєня; потім підпустив у ту плівку соку з песього молока і ми побачили від разу, як по плівці з слини розливали ся ріжнобарвні колїсця, які чим раз більше переходили в червоний, кровавий колір. Нас проняло морозом, а Митро спокійно, своїм однотонним голосом, мов забувши все довкола почав співати :

Виїдь, виїдь, крілю,
На червонім коню,
Твої сини порубані,
Під тим мостом поховані.

— Митре, Митре! — почув ся ось-ось за нашими плечима хрипливий, немов гробовий голос. Ми трохи не скривнули всі з переляку і в одній хвилі обернули ся за голосом. За плотом стояла Напуда.

Напуда була дівчина літ несповна сімнацяти, низька також чорна на лиці, з плоским носом, низьким, чолом і такимиж великими та мутними очима, як і в Митра. Я ніколи не бачив її веселою, говіркою, не чув від неї жарту ані пісні, не видав її пристроєною, як інші сільські дівчата. Все понура та мовчазлива, вона ходила мов сонна, а останніми часами стала ще понурійша. Ми діти навіть боялись її по троха, і коли здибали ся з нею на дорозі, все обминали її мовчки, немов ось-ось ждали від неї якогось лиха. Але причиною того страху не були її поступки: вона ніколи не сказала нікому й лихого слова, тільки та її понурість, мовчазливість та забитість, що виразно малювала ся на її невродливім, буцматім та троха піганистім лиці, в її очах і лїнивих, мов за напасть руках. Усе те відражувало від неї не тільки нас, дітей, чутких на всяку дрібницю, але й старших. Ніхто не сказав про неї ніколи й одного слова без якоїсь відрази та погорди, хоть і злого ніхто не міг про неї сказати. Правда, ніхто не допитував ся, як вона зросла і як жие тепер, відки походить ота її забитість та заляканість, а раз похопивши назву »Напуда«, кождей тою згїрдною назвою

збував усе, не додивляючи ся, чи під тою згірною назвою і під тою відразливою поверхвністю не беть ся, не тремтить та не мучить ся живе, людське серце, що бажає щастя і життя не згірше всякого иншого. Тай чи є в наших селян час і вмільсть розбирати се все, а особливо там, де людина, загукана та забита довгими літами недолі і пониження, від малку погорджувана, поштуркувана та висміювана стягаєть ся сама в собі, корчить ся мов проколений слимак та ховаєть ся трівожно з усім, що виявлювало би в ній живого чоловіка? І я пізнав, правда, по довгих літах, що такою людиною була Напуда.

— Митре, чи ти тут? — кричала вона з-за плота. — Ходи сюди.

Митро встав, якось швидше і живійше, ніж звичайно, і пішов до перелазу, що виходив на вулицю. Перелізши пліт він підбіг до Напуди. Вона була одягнена зовсім так, як звичайно, в грубій, зрібній, брудній сорочці і мальованці, без хустини на голові. Вітер розвівав її давно не заплітані чорні коси, в яких де куди стриміли стебла соломі. Вона взяла Митра за руку і не говорячи з ним нічого пішла долі вигоном у поле.

А ми все ще сиділи під дубом, не рушаючи ся, а серед нас лежала купка »песього молока«, що її приніс Митро. Аж по добрій хвилі ми, так сказати, протверезили ся і почали знов свої забави.

— А не знати, куди вони пішли? — сказав один із нас.

— А побіжім лише за ними, подивімо ся.

— За Напудою? — сказав котрийсь з якимось острахом у голосі. — Хиба не знаєш, що вона чарівниця?

— Та що, ми з далеку, — сказав другий. — Ходім на вигін.

Ми вилізли на вигін і побігли в низ, а потім звернули на поле, в той бік, куди пішла Напуда з Митром. Але на полі ми не могли знайти нікого, і набігавши ся доволі по дорозі вернули над вечером назад до дому.

Другого дня по обіді я сам якось бавив ся на оборі, стругав копанички до санок, коли в тім кризь пліт із Микитичевого саду зазирає Митро. Він дихав дуже швидко і ледво-ледво прошептав до мене.

— Івасю.

— Га? То ти, Митре?

— Я. Знаєш що? Іди до хати та винеси мені хліба, а великий кусень. Мамі нині не стало.

Митро не перший раз просив у мене хліба. Я не питав ся його більше, тільки побіг до хати. На щасте мама вийшли були до города, а то би певно були насварили на мене, на що беру такий великий кусень хліба. Але йдучи коло стола я побачив, що мама напекли бульб'яних малаїв (пляцків без тіста), і не надумуючи ся, уломив мимоходом пів одного («скажу що я з'їв. А що-ж то, хіба я не годен?» мигнула в мене думка), і побіг з тим усім до Митра.

Яким дивним, невимовним поглядом зирнув він на мене, ховаючи за пазуху хліб і малай! Мені стало чогось і любо і страшно...

— Треба бігти! — шепнув він і щез.

— Куди, Митре? — запитав я, але Митро не чув уже мого запитаня.

При полуденку поміж иньшою бесідою наймит Микола, вічно сердитий на всіх і все, сказав спльовуючи :

— Або от!... Здибає мене ось Анна, та що в Микитича коморусе. »Чи не видів ти, мой, моєї

дівки? « Тьфу на тебе, маро, — мені старому ще за її дівками пантрувати?..

— Або де-ж її дівка поділа ся? — запитала служниця Марина.

— А дідько її — Дух сьвятий при їдженю — знає. Десь як учора щезла, тай таки й дома не ночувала. Ні відшукати, ні відпитати.

— Гм! Певно то... вже — пробуркотіла Марина, наливаючи з великого кїтлика борщ. Я не міг зрозуміти, що то таке »вже« ; більше про се не було бесіди, так що я й не дізнав ся, що робить ся з Напудою. Аж ось вечером, як уже худоба прийшла з паші, чую — крик на вигоні, плач, сварка. Всі ми, хто був у хаті, повибігали подивити ся, що там таке. На вигоні вже стояли люди, охали, зацїтькували та вговорювали когось.

— Що тут таке? Що таке? — питали ся люди збігаючи ся з усіх боків.

— Та от Анна хлопця трохи не обезвічила.

— Здуріла жінка та бодяками хлопчища, — аж бідному плечі кровю підплили.

Я протиснув ся крізь громаду, щоб поглянути на все.

— Я його, шибеника, на смерть забю, — кричала Анна, вимахуючи цілою вязанкою бодяків. — Я його в дим до гори ногами повішу! Най скаже, де тамтота плюгавця поділа ся!

— Та як він вам скаже, коли не знає? — уговкували Анну жінки.

— Ага, не знає? Злодій один; не бійте ся, він добре знає! Нині бігав увесь день нїт-вісти куди! Чуєш мені, ти пришку! — грозила вона Митрови. А він, бідний притулив ся до одної жінки і стояв ні живий ні мертвий; здавало ся, що не бачив нічого, не чув, тільки хвиля від хвилі хлипав.

— А йди-ж ти, Анно, йди! — заговорив старий Прокіп, найстарший дід у нашім селі, — чи ти вдуріла, чи тобі й той розум вплив, що-сь його не мала? Та так дитину скарувати, га!

За плечима Анни стояв Микитич і мовчки дивився на все.

— Та ви би, куме Микитичу, не дали їй, — загомоніли жінки.

— А що кумови Микитичови до мене тай до мого хлопця! — закричала Анна. — Може то його?... Права не має!.. Що схочу, те з ним зроблю!

Микитич скривився, мов перець розкусив.

— Та не дуже я й кваплюся, — сказав він осьміхаючи ся на силу, якось прикро, — не дуже я й кваплюся мішати ся в твоє право! Роби собі про мене з ним, що хочеш!

Він пішов. Настала хвилива мовчанка.

— Ходи до хати, ти драбе один! — крикнула Анна і вхопила Митра за руку.

— Не піду, ти мене забеш! — сказав Митро таким твердим та рівним голосом, немов съвято був переконаний про се.

— Анно, — загомоніли жінки, — май же розум! Що дитина винна, за що будеш бити його? Фе, стидайся.

— Ти сама стидайся, богачко зателепана! — закричала Анна. — А я чого-б мала стидати ся? Я чень мати своїй дитині, — я виблю, я й помилую!..

І Анна взяла Митра за руку і повела до дому. Він не плакав, не кричав, не опирався, — тільки раз обернув ся і поглянув по людях, але таким поглядом, що мені стало від нього страшно, страшнійше, ніж від його казки.

— За що вона хлопця вчепила ся, чого від нього хоче? — питали ся деякі люди.

— А от десь дівка поділа ся, а він буцім то знає, де вона.

— Ба та чого дівка втекла?

— От дурна! Адже знаєте, їй уже час приходить. Певне боїть ся сестри тай того сумлінника Микитича...

— От говоріть, говоріть: дурна! — сказав один чоловік. — Мала вона свій розум у голові, але затовкли, зацьмали. Господи, що тота дівчице не натерпіла ся за свій вік! Та як тут не вдуріти хоть би й наймудрійшому! Адже як би я вам зачав розповідати, то й до рана не переповів би.

— Но, но. ти оповідачу мій, знов розбалагуриш ся, — задріботала його жінка. — От ходи до дому! Не видиш, які хмари сунуть, дождж буде!

Всі люди поневолі озирнули ся на захід. Над Ділом зависла страшенна синява, в якій щось клекотіло мов у кітлі і що хвиля блискало. Від Діла потягав вітер, та такий холодний, мов з над ледового поля.

— Ов, на щось погане заносить ся! Не дай Господи граду.

— Ну, то-то би праці збавило, Христе єдиний.

— Але-ж бо й справді, де тота дівка поділа ся? — закинув хтось. — Чи не вдуріла та не потекла ся де в ліс родити? Адже в таку хвилю вона заковязне в ночі. Піти би пошукати.

Люди балакали, стоячи на вигоні і не розходили ся. Нараз із Микитичової хати почув ся страшенний писк Митра, що прошиб усіх до костей.

— Господи, справді вдуріла жінка, замучить хлопця!

— Та чого ви тут стоїте як барани? Чому не йдете до хати та не віддрулите навіджену бабу від дитини? — заговорив грізно старий Прокп. — Коли роздобула хлопця, то нехайжеж його годую! Не сьміє тепер мучити та катувати його.

— Е, хотіла би позбути ся завади! — сказав хтось.

Люди гомонячи поперли на Микитичову обору, але ще не вьспіли ввійти в лісу, коли на зустріч вибігла розхрістана та задихана Анна і крикнула тривожним голосом:

— Люди добрі, будьте ласкаві, біжіть у ліс, шукайте. Вона десь над Глибокою дебрею в яличках! Ледви признав ся той бахур поганий. Біжіть, людонькове, біжіть, — адіть, яка туча надходить, ще де біді смерть буде, та потому скажуть на мене, що я вигнала її з хати!...

Баби обступили Анну і зачали з нею щось шептати, а чоловіки від разу побігли в ліс шукати за Напудою. Мене мама потягли до дому.

Не минула й хвиля від заходу сонця, а вже на землі залягла така пітьма, що я виглядаючи з хати крізь шибу бачив саме стілько, як коли-б шибу з надвору обліпив смолою. Тільки вихор завивав поміж углами та шарпав китиці з причілків хат. Хвиля від хвилі лопотіли грубі дожджові краплі в вікно. Блискавки кровавим сьвітлом пороли пітьму, а громи потрясали хату, повітре і землю.

— Йой, Господи, що за страшна буря, — сказали мама прийшовши з надвору до хати. — Щось лихе буде. Я виразно чула, як під Микитичовим дубом щось стогне, але так жалісно та страшно, що мені волос у гору пішов.

В тій хвилі блискавка запалала на небі, загуркотав грім і з великим лускотом влетіла служниця до хати.

— Матінко Христова, — скрикнула вона ледво дух переводячи, — то певно щось покутує під Микитичовим дубом, що так тяженько йойкає! Господи, як я вчула, серце в мні застигло, а воно все: »Йой доленько моя! Йой дитинонько моя! Йой жите мое непросьвітне!...« Так як ось за вмерцем заводять.

Усі, кільки нас було в хаті, вибігли на двір, не вважаючи на вихор, громи та блискавиці. Ми підійшли аж до Микитичового плота, але крім шуму бурі, що термосила могутніми конарами дуба, не чути було нічого. Ми вернули назад до хати.

За добру хвилю надійшли тато з слугою: вони бігали оба в ліс, лазили по яличках та зломах, але не могли надібати ані сліду Напуди. В якімось понурім, темнім страхі лягли ми спати. Про Напуду бесідували тільки шептом. А тим часом дождж мов із цебра жбухав на землю, а блискавиці коли не коли мов огняні змії прорізували пітьму та відбуркували ся далекими громами.

На другий день сонце зійшло весело на погідне небо. Буря минула, не наробивши великої шкоди, тільки все відсьвіжене по довгій спеці зеленіло ся, простувало ся, блищало благодатними краплями дожджу, немов сьміло і радісно хапало ся до нового життя.

З ранку було ще холодно, але скоро сонце обігріло троха повітре і просушило росу, ми діти зібрали ся до забави. На нашій оборі зійшла ся ціла громадка дітий, хлопці й дівчата з усіх хат. Тільки Митра не було.

— Ну, то Митро набрав учора від матери! Певно нині не може ходити, — сказала одна дівчинка.

— А ви чули, як учора щось під дубом йойкало? — запитав я.

— Ні, не чули. Або то щось йойкало?

— Адаже мама чули, — відповів я, — тай он Марина. Ще як лиш зачало гриміти, — наші ще тоді не повертали були з ліса.

— Ану, ходім, подивімо ся, що там таке?

— Ні, не треба йти — сказала дівчина боязко. — Татуньо казали, що як де що йойкає по ночі, то там нечисте місце. Як хто на нього стане, то йому нога всохне.

Але хоч і як ми бояли ся подібних казок, якими нас лякано від малку, то все таки цікавість перемогла. При тім се-ж було в ясний день, тато тут же на оборі рубали дрова, тай під дубом було так гарно, зовсім не страшно. Ми зібрали ся на відвагу і пішли під дуба.

— Та чого ви боїте ся? Адіть, тут нема нічого, ходіть, — кричав один хлопчина, біжучи передом. Але нараз поховз ся, мало не впав, зирнув під ноги, і став мов задеревілий.

Ми не бачили з разу зміни на його лиці, аж коли вчинили ся біля нього, то й наші очі знехотя звернули ся в те місце, де поховз ся Михайло. І ми всі хвилинку стояли мов одеревілі з перепуду. На тім самім місці, де вчора Митро показував нам кров крілівських синів зачаровану в песьому молоці, тепер стояла ціла калюжа правдивої людської крові.

— Йой, кров, кров, татуню! — зверещали ми раптово, кинувши ся рядом утікати з саду.

— Що там, що там? Дух сьвятий з вами! Що таке? — закричали тато підбігаючи до перелазу.

— Кров, кров, ціла калюжа! — кричали ми зо страху.

— Де кров, де? — питали тато перелазячи в сад.

— А он там під дубом!

Тато пішли оглянути показане місце і пробуркотіли:

— Ну, певно якесь нещасте!

А далі до нас:

— Діти, побіжіть но, закличте сюди Микитича, Прокопа тай своїх татів, хто є дома.

Діти порозбігали ся.

— От знов біда готова бути! Ще не дай Боже чого, комісія з'їде, протоколи!... А все через того сумлінняка!

Люди посходити ся питаючи, що стало ся? Тато показали їм калюжу крови.

— Ну, що-ж, — відізвили ся деякі з людий, — певно тхір по ночі курку з'їв, а ви зараз людий скликаєте!

— Так? — скрикнув старий Прокіп. — Ой, певне, що тут курку з'їджено, але яку? Ось подивіть ся сюди!

Прокіп стояв обіч і люди ззирали ся на нього. Він своїм закованим костуром почав шпортати землю, відважив одну дернину, другу, вишпортав троха глини, люди зирнули і ахнули. Деякі почали хрестити ся.

— Господи, помилуй грішну душечку. Отто! отто! — гомоніли люди.

З під глини визирало посиніле, запухле личко дитини. Микитич поглянувши на нього закусив зуби і страшно-страшно поблід.

— А де тота... Напуда? — крикнув хтось із людей. — Знайти-б її! Де вона?

В тій хвилі один хлопець закричав троха оподалік на стежці.

— Що там знов таке? — загомоніли люди.

— Слід, нанашку, слід по стежці!

— Віжіть за слідом! — сказав Прокіп. — Чень її знайдете, коли ще бідна жива, ночувавши вчорашню ніч на дворі.

Побігли люди за кровавим слідом у низ Микитичевим садом. Далі, далі, в низ садом, у беріг, — аж ось не стало сліду. Люди зупинили ся.

— Ну, а тепер куди? — запитав один.

— Тихо, чуєш? — шепнув другий.

Усі завмерли. Тихо, тихо, мов десь з під землі чути було важке, болюче стогнане.

— Господи, се певно вона! От тут у деберці! Ходім, може ще живу душу виратуємо!...

Ніколи не забуду того страшного, болем, жахом і грижею споганеного лица Напуди, коли її вивели з деберки. Її волосе було все замулене болотом, на руках сліди крови, одіж уся мокра і заталапана.

— Даруйте мені жите! Даруйте жите! — благала вона тих, що її вели.

— Ходи, дурна, адже тобі ніхто нічого не робить. Ходи до хати.

— Ні, я не піду до хати! Він мене забє! Господи, він мене забє.

— Хто такий? Який »він«?

— Я вже знаю, який. Ні, не піду! Радше в могилу.

— А на що ти дитину задушила?

Напуда мовчала. Привели її між людей, але вона з переляку і болю не могла стояти на ногах, упала на землю. Людям не стало серця допи-

тувати її. Післали по комісію до міста, а Напуду завели до хати, таки до Микитича. Швидко з'їхала комісія: судія і жандарм. Напуду закували, взяли дитину і поїхали.

Довго ще потім балакали наші люди про неї. Вона в суді признала ся, що задушила дитину, але хто був батьком дитини і по що вона задушила її, того ні за що не хотїла сказати. Хотїла потім і сама скочити в воду, але вона так дуже бояла ся води — не скочила. Її судили в Самборі. Микитич, Анна, мої тато і ще кілька людей ставали за свідків. Дали їй пять лїт, але ті, що бачили її на розправі, говорили, що з неї ледво тлїнь була, певно довго не подихає. А малий Митро ніколи вже не виходив з нами бавити ся. Від коли взяли пани його тїтку, що одна може любила його щиро, від тоді він став іще більше понурий, лїнний та відлюдний. Він рідко виходив із хати і я рідко видав його. Часом тїлько, коли була гарна погода, я зазираючи крізь плїт до Микитичового саду, бачив Митра під дубом. Він заслинював стебло, підпускав на плинне зеркальце краплину песього молока і вдивляючи ся в ріжнобарвні переливи острого плинну співав мертвецьким голосом:

Виїдь, виїдь, крілю
На червонім коню,
Твої сини порубані
Під сим мостом поховані.

В осени менє віддали до школи, а коли я приїхав до дому на Рїздвяні сьвята, вже я не застав Митра. Він умер на самої Покрови. Зараз по його погребі Микитич нагнав його матір від себе і вона щезла з села не знати куди, так як не знати відки прийшла.

Житеві хвилі та вражіння швидко затерли в моїй пам'яті ті два дивні, сумовиті лиця, понурі та нелюдяні постаті двох молодих людей, скривджених долею і немов проклятих Богом. Та по довгих роках, коли й мене самого кинула доля в ту безодню, на дно суспільности, і змусила переживати хвилі, коли чоловік поневолі питає себе: по що я жию? чи варто жити, щоб приймати муку? — аж тоді виринули в моїй пам'яті їх мученицькі, давно забуті лиця. Ось вони, ті парії людської громади, ті без вини винуваті! І вони живуть, мучать ся весь вік, без яних споминів і без яних надій, мов ті подорожні, що вийшли в дорогу в мрячний день і йдуть тою мрякою всю дорогу. Вони минають зелені луги, цвітучі левади, плодючі сади і багатолюдні села, минають тисячі красот і радощів і не бачуть нічого, — бачуть лише сіру мряку, сірі стовбурі дерев та сірі, непривітні лиця. І коли можна у них говорити про яке щасте, то воно хіба в тім, що не зазнали нічого кращого і не мають за чим тужити. І згадавши те їх жите я почув докір у серці, що посьмів рівняти свою долю з їхньою, і той гіркий докір був мов хіновий порошок хорому на пропасницю: він гіркий, але проганяє пароксизм.



Я н д р у с и.¹⁾

- Владку, Начку, куди вас чорти носять?
- Лізе один з другим, як лельом-полельом.
- Свинтухи! Кажуть, що о першій будуть на місці, а отсе вже швидко другого бити-муть²⁾.
- Дати їм у карк по разу, нехай учать ся додержувати слова.
- Споневіряти їм фронт.³⁾
- Закобзати їх по під щєблі.⁴⁾
- Заїхати їм між липки, щоб їм аж Войтєво закапував!)

Такі окрики і делікатні вказівки чути було з великої, галасливої громади вуличних дітей на одній із малолюдних вулиць Львова з полудня одного гарного осіннього дня. Діти прирадили власне сього дня зробити собі спільний прохід на Пелчинські »гори« — на тернівки, печериці, глокові ягоди, при нагоді також на картоплі, морков, бруков, якої можна було »намухрати«⁵⁾

¹⁾ В жаргоні львівських вуличників хлопці.

²⁾ Знач. буде бити друга година.

³⁾ Набити по пиці.

⁴⁾ Поштуркати по під ребра.

⁵⁾ Ударити їх між очя, щоб їм аж місяць засьвітив.

⁶⁾ Накрасти.

з сусідніх засаджених піль. У Волецькім ліску мали розложити огонь, пекти картоплі та гриби. Загалом увесь пополудень, проведений на свободі, серед багатї осінньої природи, по словам головного ватажка Стефка, недавно прогнаного з варстату столярського термінатора мав бути »приємний, як сто чортів«.

Діти походили ся вже година тому назад, але не вирушали не вважаючи на налягання деяких надто нетерпливих. Стефко, хлопчак уже майже під вусом, що держав провід над усею сею громадою виключно на основі своєї переможної фізичної сили, зупиняв галасливу »гололу«, допоки не зберуть ся всі учасники задуманої прогульки. Особливо були йому потрібні Владко і Начко, два брати близнюки, підрутки в віці по десять літ, відомі задля своєї зручності та швидкості в ногах. Ніхто з усеї компанії не вмів ліпше від них упорати ся в огороді чи серед овочевих дерев, не здужав зручнійше втікати перед погонєю, користати з найнезначнійших і зовсім несподіваних кривок і вертати з багатшою добичею. Тим то й не диво, що в очах Стефка, який на весь сей похід дивив ся чисто з практичного погляду, Владко і Начко були неминуче потрібні учасники і що він волів цілу годину видержати на місці свою нетерпливу »галайстру«, ніж вирушати в поле без них.

Нарешті дожидані показали ся на закруті вулиці, і їх привитано градом погроз, докорів та жартів.

— Деж ви, бахурня, так довго сиділи у дідька? — запитав їх Стефко, коли вони порівняли ся з компанією.

— Мусіли ждати на обід. Войцехова рано була десь там на хрестинах, вернула аж о одина-

цятій і то вже під доброю датою!). То на сам перед поки нас обох набила, потім поки висварила ся з чоловіком, потім поки розпалила огонь і зварила бульби до борщу, то й перша минула.

— А за щож вас била?

— Або я знаю! — відповів байдужно Владко. — Се вже у неї щоденна встанова. Каже, що без її бухняків і різок ми не рослиб зовсім.

— А сьогодні — докинув Начко, лише блискучими оченятами зраджуючи свій внутрішній сьміх, — то вже бігме не знаю, за що ми дістали різкою, чи за котя, чи за молоко?

Вся компанія вибухла голосним сьміхом.

— Як то, чи може котя виїло молоко?

— Е, де там! — спокійно відповів Владко. — Котятине захорувало на живіт, мабуть від тих гнилих огірків, що ми ними нагодували його вчора. Радимо ся сьогодні рано оба: чим би йому допомогти, бо шкода, як би холера здохла. Каже Начко: »Тут нічого не допоможе, хіба тепла мінеральна купіль.« — »Бе, а деж йому у дідька взяти того мінералу?« — кажу я. А Начко каже: »А молоко хіба не мінерал?« А я кажу: »Та вже мінерал, чи не мінерал, але то певне, що воно помагає на живіт, особливо коли тепле. Сама Войцехова нераз говорила.« А наша Войцехова, знаєте, має грайзлерню²⁾, то й молока щодень купує грубий гладущик, спарить і продає по півкватирці. І сьогодні так само. Спарила те молоко, відставила на бік, а сама забрала ся і пішла на

¹⁾ Підохочена, на підпитку.

²⁾ Склепик з віктуалами і всякими річами для щоденного вжитку.

хрестини, а свого глухого Войтка посадила в склепику, нехай продає. А нам тільки того й треба було. Зараз ми хоре котя з печи, поспотрили йому живчик — овва, кепсько! Неодмінно треба лічити. Ану, взяв Начко за хвостик, я за голову, — котятище вам лише лапки розставило і тихо. Питаю я Начка: »А що, Начку, чи помалу занурювати, чи відразу?« А Начко каже: »Хто знає, може се наврочено, то треба відразу, щоб перелякало ся, то й уроки перелякають ся і втечуть.« Думаю собі: »Має рацію.« Як вам шубовснено легесенько котя до молока, як котя відразу не м'явкне мов скажене, як не вхопить мене пазурами за руку, я як не перелякаю ся і не стріпну рукою, а мое котятко все й затонуло в молоці, лише Начко держав за хвостик. Підержав хвилечку, поки бульки йшли, витягає, а котярва вам зовсім гола як бубен і напухла як бочка, лише пара з неї бухтить. Розумієть ся, що нежива, бо молоко, пся кість, було ще майже кипуче, так що вся шерсть із нього облїзла і лишила ся в горшку. »На маєш! — кажу до Начка, — отсеж ми й видохторували котятище!« — »Е, — каже Начко — байка котятище, але що буде з мо- — »З молоком, — кажу я. — Іди, має бути з молоком? Молоко стара продасть по півкватирці, але котярви чали ми сварити ся, чого більше молока чи котята, і пішли на суд до Віцеха. Але поки ми йому витолкували, аж ось прийшла й Войцехова і побавили паробили.

Це оповідане, виголошене зовсім подекуди патетично, від початку до ненастанні вибухи сьміху в фю аж за боки хапав ся. Навіть у ку всьміхав ся добродушно не

стільки з самого оповідання, скільки з радості за-
для успіху брата, який серед усіх вуличників мав
славу дуже забавного оповідача.

— Ну, і щож, — запитав Стефко насмі-
явши ся до сита, — розсудила Войцехова вашу
суперечку?

— Та ні, — відповів Владко майже з пла-
чем. — Набити нас, що правда, набила порядно,
але на Начкове запитане, за що властиво нас бе,
за котя чи за молоко, дала йому по гамалику тай
на тім кінець. Але я все гадаю, що їй більше
шкода котятища, бо молоко стара чарівниця
справді процідила, певно ще сьогодні прода-
вати ме.

— Ото стара чарівниця! — залунали дов-
кола окрики дівчорі. — Адже се хвороба не
молоко.

— Овва, не бійте ся! — відповів уговку-
ючи їх Владко. — Знає вона, що робити. Молоко
ще раз переварить, змішає з чистим пів на пів
і ніхто й не пізнає, що в нїм хоре котятище ва-
рило ся.

Всю компанію безмірно забавило се опові-
дане. Серед голосних сьміхів і жартів рушили всі
під проводом Стефка до цитаделі, повторяючи між
собою ріжними способами і з ріжними додатками
Владкову повість про «котярву» та її оригінальне
лічене. Тільки автори того веселого оповідання,
Владко й Начко, не приймали участі в загальній
веселости. Вони йшли на чолі товариства, по
обох боках Стефка, пильно вислухуючи пляну
кампанії, який він уложив на сьогодні і в яким
на них припадали важні ролі.

— Знаєш що, Владку, — мовив Стефко на-
хилиючи ся на право, — ти підеш отам на кар-

тофлі. — А ти Начку — тут Стефко нахилив ся на ліво, — підеш на бруков.

— Ні, — відповіли оба одним голосом, — ми підемо оба разом.

— Але в таким разі лишимо ся без брукви! — скрикнув Стефко.

— Чорт бери бруков! Картофля старша від брукви. А коли тобі так хочеть ся брукви, то йди сам або пішли кого.

— Кого тут післати, коли все се такий дрібзюк, а до того такі нездари! Найліпше було б, як би так один із вас —

— Ні, про се нема що говорити, — рішучо заявив Владко, — я без Начка нікуди не піду.

— І я без Владка сам не рушу ся.

Стефко знав не від сьогодні про сю дивну дружність обох близнюків, які, бачилось, тільки оба враз творили одну цілу особу, одного зручного, догадливого та веселого хлопця, а розлучені хоч на хвилю тратили свою веселість, робили ся якимись неспокійними, розсіяними і недогадливими. Він іще раз пробував намовити їх, аби розлучили ся сього разу, бо йому дуже хотіло ся брукви, а сам був занадто великий боягуз, щоб відважити ся в білий день на крадіж.

— Правдиві з вас Лельом і Полельом, — мовив Стефко, плещучи їх обома руками по плечах. — Ніяким сьвітом вас не розлучиш.

— І не треба, бо ми один боз другого ні на що не здалі.

— Про мене йдїть оба разом, — мовив Стефко не знаходячи на се ніякої відповіді. — А з бруквою то вже ми якось дамо собі раду.

З шумом і галасом перебігла громадка обдертої, босої та замураної дїтвори через греблю Пелчиньского ставу і розсипала ся по корчах, що денедє покривали сумежні горбики.

Ожили сугорби від частих криків, вигуків та проклять, що дуже неприродно звучали в дитячих іноді устах. Але щож, львівська вулиця, се також свого рода школа, де тон і словар для всіх однаковий і обовязковий.

— Владку! Начку! — гукав Стефко видряпавши ся вже на верх горбика, з якого міг вигідно оглянути сусідні поля.

Владко і Начко були вже біля нього.

— Ну, що, знаєте вже, куди маєте йти?

— Знаємо, знаємо.

— А уважайте гаразд! Там е й кукуруза.

— І кукурузи наломаємо.

— Тільки треба кляво шпанувати¹⁾, бо в кукурузі може кимати жолоб²⁾, то щоб вас не заскочив.

— Не бій ся, ніщо нам не станеть ся! — скрикнули брати і побравши ся за руки пустили ся чвалом по спохові горбика в напрямі до поля.

— А знаєте, куди йти потім? — кричав за ними Стефко.

— Знаємо, знаємо! До Волецького ліска, — скрикнули в відповідь йому хлопці і швидко сховали ся в рядках засаджених високою кукурузою. Немов у воду канули в гущавину сутої, шестячої зелені.

Стефко довго придивляв ся з гори, чи не побачить хоч якого сліду їх, але даремно. А про те поле засаджене кукурузою зовсім не було таке широке, бо обіймало ледво десять грядок. А далі за кукурузою йшла ширша смуга картоплі.

— Де ті відміни могли подіти ся? — муркотів сам до себе Стефко, даремно силкуючи ся

¹⁾ Добре глядіти.

²⁾ Може лежати хлоп.

своїми міщанськими, підсліпуватими очима з далека проникнути в гущавину кукурузи.

— І що там гуздрають ся так довго? Чому не копають картофель?

Але в тій хвилі перервав пасмо своїх думок і аж у долоні плеснув з диву. На протилежнім кінці картопляної нивки з посеред високих рядків і напів висохлої натини мигнула йому чорна, обстрижена голова одного з братів.

— Чи бачиш їх! Бухацькі¹⁾ душі! — скрикнув Стефко пронятий подивом. — Я думав, що вони ще в кукурузі, а вони вже все картоплисько сплїндрували. Ну, не хотів би я слухати того, що зашіврає жолоб²⁾, коли на своїй ниві побачить сліди їх роботи.

Та в тій хвилі пасмо Стефкових міркувань іще раз було перерване зовсім несподіваним робом. Із посеред кукурузи вихилила ся кремезна, плечиста постава господаря і відрізала братам відворот. За пізно було ховати ся, бо властитель почав гукати:

— Тримай! Лапай злодіїв!

— Тримай! Лапай! — почуло ся в відповідь на сей окрик із різних сторін, із сусідніх нив, де працювали господарі та господині, а також із многолюдного тракту, що вів зі Львова на Вільку. Тікати туди, се значило бігти в пастку, де кожної хвилі могли їх зловити. Хлопці завагали ся.

— А тут ви мені, пташки! — заревів господар, наближаючи ся до братів з розпростертими навхрест руками, як хозайка, що хоче зловити нараз дві курки.

¹⁾ Злодійські.

²⁾ Говоритиме хлоп.

Хлопці виполошені зі своїх криївок схопили ся разом на рівні ноги і в першій хвилі немов задеревіли. Владко розігнав ся, щоб бігти до гостинця, але тут уже стояли люди зваблені криком, творячи немов формальний кордон. Він зупинив ся і нараз мов куля кинув ся до брата, що з поблідлим лицем і закушеними губами все ще стояв на місці, очима мірячи величину небезпеки. А господар звільна, з розхрещеними руками, червоний і грізний наближав ся до них.

— Разом на нього! Начку! Сип йому головою в живіт, щоб на місці перевернув ся! — крикнув Владко, і оба брати, немов два камінці викинені з одної пращі, кинули ся до господаря.

Але перечислили ся. Замість утелющити його головами в живіт наскочили на міцні, жилчасті руки, які від разу вхопили їх обох за обшивки.

— Ага, маю вас! — крикнув радісно господар і потрусив обома молодими злочинцями так міцно, що їм аж кости в карку затріщали і в очах замиготіло по сто сьвічок.

— Іще не маєш, песя твоя матъ була! — запищав Владко, якому аж сльози станули в очах. — Начку, вали його головою в живіт, як то ти вмієш!

Начкови не треба було й говорити сього. Ледво став добре на землі по сильнім потрясеню, а вже уставивши свою коротко обстрижену голову як баран до боденя, з усеї сили вдарив господаря чолом під бік та напруго і несподівано, що сей аж зойкнув і лівою рукою вхопив ся за бік, випускаючи з неї Начкову обшивку. Але в тій же хвилі він голосно крикнув з болю і підхопив праву руку до уст: рука обливала ся

кровю з довгої, хоч і не глибокої рани, яку за-
подіяв йому Владко ножем у долоню.

— А щоб вас чорти побрали, прокляті ба-
хурі! — закликав неборак на здогін братам, що
втікали з усеї сили, плюнуv і зі стоїцкими супо-
коєм виняв із за пазухи хустку та почав нею
завязувати скалічену руку.

А хлопці тимчасом як вихор ускачили в ку-
курузу і тільки зашелестіли високим бадилем.

— Тримай! Лапай злодів! — загукали су-
сіди, що як раз надбігли на поміч пошкодованому
господареві.

— Е, дідька ви зловите, не їх, — мовив
господар. — Навіть не трудіть ся. Нехай собі
погуляють, уже я їм дам за своє.

І говорючи се він притримував зубами один
кінець хустки, щоб міг здоровою рукою завязати
вузол на скаліченій долоні.

— Та що вони зробили вам?

— От бачите! Я вхопив їх обох за карки,
думав собі: от діти. Був би протріпав їх троха
тай пустив. А чорт їх знав, що се таке ще мале,
а таке вже вправне в злодійськїм ремеслі. О, з них
певно ані один не згине своєю смертю.

— Ну, ну, і щож вам зробили? — допиту-
вали ся сусіди, більше з цікавості на штучку
хлопаків, ніж спочуваючи шкоді властителя.

— Та ось бачите що! Один із того чортів-
ського накоренку як мене стусонув головою в бік,
під саме серце, то я мало не зомлів. Здаєть ся,
що там зломив мені пару ребер. А другий у тій
самій хвилі вхопив якогось шматок гнипа та як
фалатне мене по руці, адіть, як закровавив.

— А! — закричали в один голос сусіди та
сусідки. — Отто діточки! Бодай не вирости
більші! Бодай їм батько повісив ся! Щоб і слід

їх загинув! Ну, дивіть ся, люди добрі, що то тепер за покоління виростає. Ісусе Назаренський, наверни їх десь не зломане карку, але не між народ християнський!

— А всьому винно те прокляте місто! — докинув один сусід. — То правдиве пекло, де чорти плодять ся. Стягаєть ся туди всяка голота, як мурашки до гнізда, а потому розлазить ся відтам і жити людям не дає! Чи городина, чи садовина, чи курка на оборі, чи що найменше, всього пильнуй, ніщо перед ними непевне!

Стара ненависть селян проти міста й міщан відізнавала ся гучною луною серед усеї тої громади, і довго ще важкою хмарою над головами сеї громадки стояли проклятя та наріканя на місто.

А пошкодований господар стояв тимчасом на серед своєї нивки, блідий, але спокійний, і водив очима по загонах, оцінюючи руїну, яку заподіяли йому зухвалі вуличники особливо в картоплях та кукурузі.

— Ну, і згляньте ся, людонькове, скільки ті шельми нарobili мені шкоди! — бідкав ся господар перериваючи безцільні падьканя кумів і кумась. — На ринського б і не дивив ся. Ну, і скажіть, як тут чоловік має жити при таким розбою? Аджеж се розбій у білий день! Але ні, я їм того не подарую. Я їм покажу, куди стежка в горох. Вони думають, що я буду за ними бігати по дебрах, як шалений. Ні, нехай собі летять, я їх віднайду в самім гнізді. На щасте знаю, де їх шукати — се тої грубої ґрайзлерки на Гончарської харцизяки — не знаю, чи синки, чи вихованки, але мені се все одно. Запакую я їх до Кармелітів), нехай там троха просидять ся, а

¹⁾ Бувший монастир Кармелітів, перемінений на в'язницю.

вже гунцвот не мое імя, коли не попрошу в поліці, аби їм перед тим порядно вигарбували шкіру.

Не так би був іще співав шановний Волецький господар, як би був знав, що роблять хлопята вирвавши ся з його рук. У граничнім рові, що відділював його кукурузу від толоки, між допущем лежала ціла купа наломаних кукурузяних шульок, кілька великих бруквів і купа картоплі. До того складу шмигнули манівцями втікачі і навантаживши свої пазухи, кишені та шапки накраденою яриною, не вважаючи на близькість господаря, виповзли ровом до поблизького яра, а яром погнали в гору до своїх товаришів.

Стефко з гори, захований за терновим корчем, бачив усю ту історію, бачив як брати попали ся в руки господаря, як вирвали ся від нього і щезли серед кукурузи. Від тоді минула добра хвиля, а хлопців не було видно. Вже Стефко думав, чи не перелякали ся вони та не втекли до дому, коли в тім із дна яру, що роззявив ся тут же перед його ногами, почув легке псикане.

— Пст! пст!

— Хто там? — скрикнув Стефко похляючи голову в той бік, відкіль чуло ся псикане.

— Чи се ти, Стефку? — запитав притишений голос Владка.

— Я. А що там?

— Ходи сюди, поможи нам забрати. А швидше!

Не надумуючи ся довго Стефко на лоб на шию кинув ся в низ по стрімкій стіні яру. Потовк ся порядно, подряпав собі лице о якесь колюче зіле, закровавив руки, якими силкував ся

задержати ся, та за те в одній хвилі був на дні яра і важко сапаючи стояв біля обох братів.

— Не летить там хто за нами? — запитали брати в один голос.

— Ні, ніхто не летить. А ви що тут маєте?

— Як то що? Те, по що ходили. На, бери, поможи нам нести і ходімо швидко до ліса!

Стефко стояв остовпілий на вид здобичі принесеної в такій великій силі не вважаючи на таку грізну небезпеку.

— Чорт у вас сидить! — скрикнув. — Аджеж жолоб мав вас у руках. І ви не бояли ся ще рвати?

— Бояти то ми бояли ся, бо як би хотів летіти за нами, то був би міг зловити нас. Але знов як ми нарвали, то гріх було лишити.

— Ну, а як же ви вирвали ся від жолоба?

— Га, га, га! — зареготав ся Владко. — Попамятає він нас! Бачиш, отсим майхром) я розфалатав йому руку, як полядвницю.

— А я як кобзнув його маківкою²⁾ під щєблї, то певно зломав йому зо два.

— А він мабуть поміркував собі, що за богато два гриби в борщ, і пустив нас на фрай.

— Га, га, га! — засьміяв ся Стефко. — Козаки з вас, нема що казати. Го, буде троене³⁾, аж усі чорти розвеселять ся. Ану, голота, до ліса!

Се мовлячи Стефко свиснув на свою компанію і ховаючи ся тут по ярах, тут виринаючи мов кертиці з під землі, а там знов шириючи

1) Ножем.

2) Ударив головою.

3) Їдїне, баль.

мов миши з нори до нори всі поспішали до Волецького ліса.

Не минуло й пів години, а вже в віддаленім закутку ліса, в ярку, біля коріння кріслатого дуба палахкотів огник із сухих гіляк і листя, а в жару пекли ся картоплі і обтерєблені з листя шульки кукурудзи, а Стефко сидячи на грубім корені як який король видавав накази і обділював розсаджену довкока дїтвору рівно покраяними шматочками брукви.

Начка і Владка знов нема в компанїї. Разом із двома иншими хлопчаками вони пішли на губи; ніхто так добре як вони не знає в сьому лісі полянок і корчів, де завсїгди, не вважаючи на численних аматорів грибозбору, можна знайти кільканацять гарних голубінок, сиріжок і инших губ придатних до печеня. Заким вони вернуть, компанія перегризає по шматку брукви, але найліпші, найсоковитїйші шматки лежать на боці, на зеленім лопусї, заховані для тих, що збирають губи. Картоплі ані кукурузи перед їх приходом ніхто не сьміє їсти: упечені шматки відкладають на бік у горячий попіл.

Боже, як чудово довкола! Тиша, сонечко грїє лагідно, хїлячи ся вже до заходу. Старі дуби стоять простягаючи в гору свої могутні рамена і грїють ся до сонця. Лише задумана береза над яром посумніла і мов золоті сльози без вітру ронить до долу свої пожовклі листочки: кап, кап, кап! Жовна застукала в конарі. Капають від часу до часу на пів достиглі жолуді з дубів, і лише десь-колись ледво чутно долетить до сього відлюдного сховища голос бляшаного дзвінка на шиї у корови, що пасеть ся десь за битою дорогою, в зубрянському зрубі. Діти самі того не спостерїгши затихли, слухають легесенького хрускогу

огнища, озирають ся докола широко витріщеними оченятами, в яких із під грубої кори міського зіпсуття, передчасного сиріцтва, нужди і занедбаня проблискує щира радість, те хвилеве, але чисте щасте, яким надихає людську душу гарна природа. Ось маленька, жовтава лісова мишка вибігла зі своєї норки, приваблена теплом і лісовою тишею, сіла на пні під густим корчем ліщини і нараз немов закаменіла, вперши оченята в невиданий доси кровавий блиск горючого огнища. Потім піднесла до мордочки свої дрібні оксамітові лапки, немов би хотіла ближше придивити ся дивному явищу, та наренгі живо рухаючи білими вусиками скочила на лісовий корч, ухопила навислий на гияльці горіх і моментально сховала ся зі здобичю в своїй норці. Діти з німим подивом гляділи на прегарного звірика, але ніхто не поважив ся крикнути, тим менше кидати за ним патиками, або сполошити його. По що полошити? Адже воно не робить нікому нічого злого, тай діти також у тій хвилі не хотіли робити нікому нічого злого. Се вже не згряя львівських вуличників і шанталавців, аспірантів до криміналу та шпиталів, поденя суспільности, — се купка добрих, тихих дітей, що бажають пестоців і любови, здібні до всього, що добре й великодушне, тулила ся в яру коло коріня могутнього старого дуба біля огнища. На жаль се огнище швидко загасне, чудовий день добіжить до кінця, мине хвилина упоеня тишею та красою природи, а суспільність як була так і лишить ся байдужна на долю того поденя, як була так і буде в десятеро прудкійша до пімсти і кари, ніж до любови, пробаченя та материнської дбайливости.

— Гурра! — почули ся голосні окрики з другого кінця яру, і з зеленої гущавини, немов

щупаки з очерету виринули почервонілі, з розчіхраним волосем, убрані в павутину та сухе листе, але веселі голови хлопчаків. Шапки несли в руках, а в кожній шапці повно грибів.

— Гурра! — привитала їх уся компанія.

— Отсе раз кляві яндруси! Шпануйте, що грибів намухрали!')

— А щоб вас качка копнула! А деж ви такі кляві голубінки наскочили?

— Ні, я все своє кажу, що ті бестіони мають до всього щасте. Кинь їх із поду, то вони певно як кіт упадуть на ноги.

— Вибери їм очи, то вони як богач будуть плечима бачити.

Серед таких радісних окриків уся компанія обступила щасливих хлопчаків. Особливо Владко і Начко були в гонорах, до них були звернені всі висші делікатні промови, вони були, так сказати, героями дня. Від них забрали губи, які під Стефковим доглядом почали чистити і пекти, відломуючи від кожної корінець і щедро посипаючи те місце сіллю. Губ було стілько, що на кожного з товариства випадало по три штуки, а надто лишалося ще по одній для Стефка, Владка і Начка. Розділу губ як і всіх інших річий dokonувано гуртом, серед сварні та гармідеру, але як найсумліпнійше і з узглядненем усіх можливих вимогів справедливости. Тільки Владко і Начко, почувавши свої заслуги, не мішалися до тих суперечок, але сиділи біля огнища під дубом, смачно заїдаючи полишені їм шматки брукви і радісно оповідаючи про свою мандрівку по лісі за губами; пильно слухала їх з витріщеними оченятами і з

1) Славні хлопці! Глядіть, скільки грибів назбирали.
на лоні природи.

отвореними устами купка наймолодших у компанії хлопчиків, шести- та семи-літніх лобузів, що заздро і з подивом гляділи на кожний крок братів, хапали кожде їх слово і певне всю ніч, лежачи десь по брудних, вонючих кутах своїх нужденних помешкань будуть мріяти про ті чудеса природи, про пригоди серед лісової зелені, про ті приємности та розчарованя грибозбору, які в тій хвилі так проречисто, доповняючи один одного, розмальовують перед ними Владко і Начко.

— Кукурудза готова! Гей, до кукурудзи, бахурня! — кличе Стефко і всі просто кидають ся до нього. За кукурудзою йдуть печені картоплі з губами — »панська страва,« як висловив ся хтось із товариства. Все се споживають серед голосних сьміхів, жартів і добродушних дотинків. Сей згадує свій »дім«, своїх »старих«, родичів чи опікунів, той кине майстра, що нагнав його з терміну, инший висьміває школу або столярську робітню, — одним словом, конверзація йде загальна, оживлена, суто переплітана плястичними дотепами в вуличнім жаргоні. Діти, що ще перед хвилею були лише дітьми, сотворінями в ряді инших творів природи, тепер незначно, але цілковито перемінили ся на репрезентантів певної суспільної верстви, певного людського типу, і виразно виявили всі особливі прикмети того типу.

Сонце зайшло вже, коли весела, гутірлива громадка по памятній прогульці вертала до Львова. Громадка розбила ся на купки, по двое, по трое, що йшли собі свobodно, не слухаючи вже ніякої коменди, тим більше, що Стефко, обпакований досить значними рештами неспожитих картопель (придадуть ся на голодне завтра!) йшов із самого заду. Дивна річ, що Владко й Начко йшли самі

і пригноблені, немов нараз упали з тої висоти, на якій стояли ще перед хвилию. Ніхто якось ними не займав ся, ніхто не поспішав ся притягти їх до своєї групи і вони йшли окремо, один біля другого, і мовчали. Якись недобрі прочутя мучили їх; чим ближше до Львова, тим більше змагало ся в них почуте якогось неспокою, якоїсь - тривоги, щось немов чорна хмара, вагітна громами та градом, яка самим своїм наближенем насичує повітре електричністю і викликає незвичайне напружене та тремтінє в нервах людей і звірів. Ні один із братів не силкував ся вияснити собі причину сього незвичайного і непріємного стану, на дні діточих душ клубило ся темне почуте вини, але свідомість не осмільювала ся зірвати з неї останню заслону.

— Владку, — сказав Начко, коли вже наближали ся до Гончарської вулиці стежкою від цитадельної гори, — як думаєш, дуже нас буде цілувати Войцехова, коли нас побачить по таких довгим гуляню?

Тон і слова мали очевидно намір напровадити на Владка ліпший гумор, але хибили ціли вже хоч би тому, що слова були сказані якось холодно, очевидно по довгим і зусильнім надумуваню, тай тон відповідно до того був силуваний і неприродний.

— Ет, що там про се говорити! — відповів поважно Владко. — Що буде, побачимо.

Але й його думка зовсім не була така стоїчна, як його слова, навпаки, вона працювала сильно, творячи фантастичні пляни, як би то і де би то сховати ся так, щоб ніхто на світї не міг побачити ані його ані Начка, щоб нависле над ним лихо — яке, від кого і за що, про се він силкував ся не думати — минуло, а вони зі

своїєї безпечної схованки заграли б йому на носах. І пішли сцени за сценами, як то вони живуть собі ні для кого незримі, а самі бачучи все і всюди маючи доступ, і беруть що їм подобається, мають усе, ні за що не платять, роблять що хочуть і сьміють ся з усякої біди. А тим часом ноги, хоча з кожною хвилиною роблять ся немов якісь важкйші, несвідомо і ніби против їх бажання несуть їх наперед, усе наперед, що раз ближше до ціли, до помешканя їх опікунки Войцехової. Вже вийшли на перевал цитадельної гори, вихилили ся з за її гребеня і понизше їх стіп розсипав ся весь Львів півмісяцем на дні долини. Левик на міському ратуші блискотить і горить у останньому проміню заходового сонця, бернардинський годинник видзвонює сему годину, мулярі бють у дошки на »фаерант« десь коло сьв. Миколая, на пів прозорий блакитнуватий туман стелить ся над містом і зливається в віддаленю з темною зеленою ліска на Високім Замку...

Але що се за народ стоїть купою на Гончарській, саме перед ґрайзлернею Войцехової? Мужчини і баби, дроворізи з пилками і сокирами, муляр з кельнею, служниця з двома коновками води, Бойко зі сливами та виноградом у двох кошиках, ганделес із перевішеною через плечі парою старих штанів, — усе те обступило когось, слухає чогось, киває головами, жестикулює. З поміж чорних халатів, зрібних сорочок та перкалевих фартухів і спідниць миготить жовта мосяжова бляха поліціана. Іншим разом подібний вид був би для хлопців принаднійший від медяника і вони що духу побігли би, щоб своїми фігурками побільшити вуличне збіговище, але тепер раптом видало ся їм, що було б далеко ліпше, як би перед ґрайзлернею Войцехової не було ані жи-

вої душі. Що більше, придививши ся з гори троха ближше тій вуличній групі, оба брати почули нараз, що вони підійшли до неї занадто близько і немов на команду завернули назад і пустилися на втеки. І не без причини. В середині групи обік поліціяна вирисовувала ся на рожевому тлі вечерового неба кремезна постать господаря з Вільки, якому вони сьогодні крім шкоди на ниві зробили також шкоду на тілі.

— Лапай! Держи їх! — залунали голосні окрики з групи перед ґрайзлернею, і раптом видало ся братам, що небо покрило ся густими хмарами, що дерева, які отінюють вулицю, нахилиють свої гіляки аж до землі і спиняють не лише їх кроки, але навіть спирають їм дух у грудях, і що вулична курява під їх ногами переміняеть ся на липку смолу, що чіпляеть ся їх босих ніг, тягнеть ся за ними і зупиняє їх кроки.

— Ага, тут ви, пташки! — чути грубий голос над їх головами і якісь тяжкі руки мов молоти спадають на їх плечі і валять їх обох разом на землю.

— Мамцю! Мамочко! Ратуй нас! — зойкнув Начко заносючи ся конвульсійним хлипанем, коли тимчасом Владко закусивши губи аж до крови бив руками і ногами, силкуючи ся вирвати ся від переслідовника. Та даремно. Швидко майже вся вулична юрба зібрала ся довкола них. Поліціян узяв їх обох за карки і попхнув наперед себе; обік нього клинучи та лаючи поганих лобузів ішов пошкодований господарь, а за ними цікава, галаслива вулична юрба.

— До поліції з ними! До арештів! Іще сьогодні протокол зложу! — повторяв господарь.

Хлопці йшли машинально, майже не бачучи та не чуючи, що діяло ся довкола них. Начко

все ще хлипав судорожно, а Владко гриз уста. А довкола них лігала груба лайка і прокляття побожних кумась, кренкі дотинки робучого люду і вереск вуличної дівтори.

— Мій Боже, таке то ще мале, а таке вже зопсоване, — зітхала якась бабуся милосерно киваючи головою.

— А щоб їх і повішали, то не було би шкоди, моя кумочко, — викриказ пискливий голос Войцехової на серед вулиці. — Бо ви не знаєте, скільки я з тими бахурами день у день нагризу ся, намучу ся, скільки їх натовчу та на-впоминаю! Але де там! Видно, що вже одно з другим уродило ся під такою злодійською звїздою. Богу дякувати, що вже їх тепер беруть, принаймні клопоту позбуду ся.

Владко йдучи поперед поліціаном поруч із своїм братом, чув отсі слова. Голос Войцехової був йому аж надто добре знайомий.

Навпаки своїому звичаєви сим разом хлопець нічого не відповів їй, але порівнявши ся з нею і бачучи, що вона дивить ся на нього, показав їй язик.

— О, бачите, злодійське насїне! — заверещала Войцехова. — Ведуть його на кару, а воно ще не покидаєть ся своїх чортівських шук. Чекай, чекай, ти урвителью, будеш ти тепер знати, кому показувати язик! Пізнаєш ти, до чого ведуть твої збитки!

— Але той другий видаєть ся якийсь тихійший, потульнійший, — мовпла якась добродушна молодичка.

— Куди тобі! — закрпчала Войцехова. — Один як і другий росте для шибениці! То тиха

вода, що береги лупає, мовчок, але анї на волос не лїпший від тамтого. Де один, там і другий. Ні, кумо, я все своє кажу: що під злодійською звїздою вродило ся, се лише шибениця направить!

Брати не чули вже того острого засуду: в супроводі поліціяна, пошкодованого господаря і юрби цікавих вони помкандибали до поліції.



Дріяда.

Уривок із повісти.

Було рано, ще сонце не зійшло. Густа, біла мряка залягла долину, висіла на гильках смерекового ліса, зісковзуючи з вершків, клубила ся по дебрах і стелила ся по зарінках. На лузі трави та квіти нахиляли ся в низ під вагою роси, що поначіпляла ся до їх листочків і стебелинок то здоровими круглими краплями, то дрібненькими перловими зеренцями, тремтячи мало що не на кожній ніжній волосиночці рослини. Тихо-тихо, ніщо й не ворухнеть ся, не щеберне. Від Стрия, що шумить краєм долини, тут же по за селом, несеть ся різкий холод. Висока полонина над селом помалу просьвітлюеть ся тим слабим, червоним сьвітлом, що попереджає схід сонця. А в селі нічого ще не видно, нічого не чути, тільки вулицею здовж села тихо, без вітру сунуть високі тумани мряк, мов ряди якихось сонних привидів, що припізнали ся і наполохані розсьвітом що духу тікають у темні нетри та непросьвітні лісові чагари.

Борис. Граб збудив ся, що йно почало свнтати.

Ще вчора приїхавши з Відня по десятилітній неприсутности до батьківського дому, перетрясаши ся 36 годин залізницею, а потім невеличкою гірською тарадайкою по кам'янистій та вибоїстій дорозі, він чув себе страшенно втомленим. Але переспавши одну ніч на оборозі в пахучім гірським сїні він чув себе немов відродженим, немов о десять літ молодшим, а праці й невидгоди десятилітнього побуту в наддунайській столиці, серед інтензивних студій та лікарської практики при клініці — усе те важке надбане, що мало тепер бути капіталом його життя, зробило ся якесь нечутне, висїло над душею мов отсей сірий туман, але не давило її. Він одяг ся тихесенько, зліз по драбині з оборога, вмив ся в кристалевім потоці, що дзюрчав при кінці вбогого огорода його батька, і одною рукою розчісуючи своє волосе, а в другій держачи капелюх, попростував вузенькою, крутою стежкою за огород, у противний бік від батьківської хати, на поле, що від потічка підіймало ся в гору, з разу легко похиленою скатертю, переломлювало ся на половині глибоким ярмом, а відси йшло вже чим раз стрімкіїше під гору і губило ся своїм кінцем у густій мряці, що велетенською сірою шапкою лежала на горі.

Борис був медик і з замилуваня гігієніст. От тим то вийшовши за огород і бачучи, що стежка веде півперек поля покритого з разу густим руном іще зовсім зеленого вівса, а далі ще густішим руном конюшини, він зрозумів, що пройти сею стежкою не заросивши ся буде неможливо. Він пригадав свої давні школярські часи і не надумуючи ся довго роззув свої чере-

вики і взяв їх у руку, підкотив штани вище колін і сьміло, з якимось дивно розкішним почутем пустив ся брести по росистій ниві.

Роса була студена, аж вищипувала в ноги, але се не спиняло його. Здорова, хлопська натура не бояла ся простуди в літній ранок. Зараз при перших ступнях його ноги аж по коліна облили ся студеною росою, мов річку брив. Він задрожав від холоду, та не прискорюючи кроків ішов просто стежкою до гори. Дорога веда до ліса, але Борисови хотіло ся дістати ся аж на вершок гори і бачити відти схід сонця. Надто мав він у тій прогульці ще иньшу свою ціль, що була провідною звідзодю всеї його подорожі в рідні сторони ; він уже вчора, ідучи сюди, обдумував її та окидаючи очима околицю визначував собі певні пункти, про які говорив собі в дуці: *spectandum est*, а тепер хотів розпочати виконане свого пляну. З вершка гори — він знав се — стелить ся широкий вид на три долини, на захід, на південь і на схід, а всі три ті долини заслонені від півночи мов величезним стогом власне сею горою, якої північним склоном він ішов тепер.

Перейшовши район засіяних нив Борис опинив ся немов перед суцільною стіною густої мряки, що все ще непорушно стояла на версі гори. Гора виглядала тепер як вулкан, із її вершка раз по раз клубили ся величезні копиці пари і важко перевалюючи ся з боку на бік котили ся в низ. Иньші підіймали ся в гору, де займали ся рожевим сьвітлом, немов дивовижні сигналові огні, що віщували схід сонця. А за тими бовдурами, чим раз сьвітлійшими та рожевійшими, що разом з живістю кольорів приймали чим раз виразнійші та фантастичнійші контури, верх гори все ще стояв недосяжний для ока, таємничий, огорнений

недоступною стіною, мов грізна твердиня. Хоча Борис знав сю гору з малечку, та проте не важив ся тепер запускати ся в сю гущавину гірської мряки, в якій і на два кроки перед собою не міг бачити нічого виразно. Він знав, що толокою, яка тягла ся висше по над рейоном управлених піль, бігли та перехрещували ся сотки ледво видних стежечок і що нема нічого лекшого, як серед мряки збити ся тут із правої стежки, заблудити серед густих корчів ялівцю та смеречини та карловатих буків. Оттим то не запускаючи ся в те рожево-сіре море він постановив собі йти його краєм, границею між нивами і толокою, доки не надйбле якоїсь возової дороги, що вела б у ліс. І він ішов, декуди повисше кісток босими стопами тонучи в мякесенькім моху та збиваючи росу з тонкостеблї, високої мушки та з широких, лапастих папоротий. По дорозі він старанно обминав куці розлогого ялівцю та невеличкі смерічки, бо на їх густих гильках і шпильках так багато висіло крапель роси, що бачилось, як би зібрати її в посудину, то на кождім корчику пару кварт води набрав би.

Пройшовши отак по під ліс зо двоє гоний він знайшов добру стежку, що поперек ліса вела на вершок гори, і пішов нею. В лісі було ще темно, тихо і глухо. Холоду тут меньше було чутно, дерева дихали якоюсь теплою, живичною парю. Десять колись у гущавинні захрустїли гильки, знак, що туди пробїгла легконога серна або иньша лісова зьвірюка. Борисови зробило ся трохи моторошно, коли подумав, що в сих лісах доволї часто попадають ся й вовки і медведї, — але той страх швидко пройшов. Він знав, що в таку пору медвїдь ситий лягає спати і не кидає ся на людей. Та про те йшов мовчки, уважно наслу-

хуючи і мимоволі прискорюючи ходу, хоч дорога гут підіймала ся стрімко в гору, так що він ідучи здорово впрів і задихав ся, а поперед його очима затанцювали чорвоні кружки від приливу крови до голови.

Дорога лісом тягла ся довго, підіймаючи ся більше або менше стрімкими терасами все вище й вище. Зразу Борис ішов зовсім у млі, мов під якимось склепінем, але звільна почував, як те склепінє робить ся щораз більше прозоре, як із мли виринають з разу здоровенні гіляки столітніх смерек та буків, далі відслонюеть ся ширший вид на глибокі яри по праву руку дороги та на високі стовбури дальших терас перед ним. Рівночасно в шпелях дерев почула ся зразу легенька, а де далі все дужша музика, те мельодійне, таємниче гранє ліса, що нераз у Відні почувало ся йому кризь сон, а тепер, коли почув його на правду, по просту вхопило його за серце, так що у нього аж сльози закрутили ся на очах. Він знав, що се встає поранковий вітер, який швидко розібе до решти густу мряку, що нависла над горою. Того він і надіяв ся, бажаючи з вершка гори налюбувати ся видом своєї улюбленої батьківської сторони.

Ось він на пятій чи шестій терасі. Зупинив ся. Тут із під могутньої смереки впливало жерело холодної, чистої води і дзюркотячи маленьким потічком губило ся серед густих лопухів і далі збігало в глубочезний яр. До жерела була втоптана стежечка, а біля самої води лежав черпачок зроблений із кори — братерська прислуга для всіх, хто зайде сюди загасити спрагу. Борис був сильно втомлений ішовши до гори; він сів на крутім смерековім корені, віддыхав довго і вдивляв ся в лісову гу-

щавину, а потім напив ся води. В лісі було тепер зовсім тихо; в низу яроч клубила ся мряка, але верхки дерев уже купали ся в румяній заграві. Десь високо між гіляками закричала сердита сойка: кре, кре, кре! Над самою головою Бориса прокинув ся пишний зелений дятел і мов вивірка пробігши з-на сяжень у гору по рівному шні смереки застукав своїм зелізним дзьобом о якусь спорохнавілу гіляку, а потім обернув голову на бік і почав одним оком придивляти ся до Бориса, немов бажаючи зміркувати, чи не має він супроти нього яких лихих намірів. Борис сидів, ані не ворухнув ся, і дятел знов почав стукати дзьобом, немов бажав збудити його з задуми.

Борис устав і пішов дальше. Він наближав ся до верхка гори. З правого боку ліс урвав ся, почала ся невеличка поляна. Від неї дмухнуло теплим, пахучим вітром: десь там на другім кінці поляни вже скосили траву і з її пологів ішов отой густий, вохкий запах гірських цвітів. Борис довго стояв і глибоко вдихав той любий запах. »От як би мої пацієнти з віденської клініки могли хоч по місяцю дихати таким повітрям і таким запахом!« — подумав він, і та думка, з якою він приїхав сюди, живішими колірами заграла в його дусі. Кліматична лічнична стація в сих горах, — отсе був його ідеал, і він постановив собі винайти для неї найвідповідніше місце: і високо положене і захищене від вітрів і при тім не надто далеко відрізане від комунікації зі сьвітом. Ідучи сюди він усе те обмірковував, мірив труднощі, особливо брак усякого комфорту по найблизших гірських місточках, бруд та жидівську господарку, — та все таки сі труднощі не видавали ся йому неможливими до поборення, а користи, які подавав його плян, переважали

Його хиби. Треба лише винайти місце для стації, таке місце, що відповідало би вимогам науки та zarazом тому плянови, який він виробив собі довголітньою практикою і яким надіяв ся побити конкуренцію деяких подібних закладів.

Роздумуючи про се він ішов далі. Поляна минула ся, почав ся знов ліс, що могутнім чорним вінцем окружав лисий вершок гори. Тут дохід був найстрімкіший; стежка гадюкою вила ся поміж віковичні буки; що крок її перебігало грубезне, круте коріне дерев, мов здоровенні гадюки. Іти по за стежкою було неможливо, бо ґрунт між деревами був дуже спадистий і покритий верствою зівялого букового листя, що висушене вітрами зробило ся слизьке та тверде, так що по нїм легко можна було з'їхати в глбоченний яр. Борис ішов звільна, важко дихаючи та сапаючи та час від часу зупиняючи ся. Поміж розлогі буки тут і там продирали ся вже і падали на землю золоті плями, довгі скісні нитки та стовпи — се було перше проміне сонця, що вихило ся з за сусідної гори. Ось один такий золотий стовп упав на саму стежку, куди йшов Борис, упав на його плечі і лагідним теплом доторкнув ся його карку. Борис мимоволі зупинив ся, мов від дотику якоїсь мягкой, ніжної руки.

В тій хвилі почув ся чистий, дзвінкий, дівочий голос — десь немов над його головою. Він озирнув ся поневолі на вершки буків, що стояли біля стежки, але швидко переконав ся, що голос ішов із висшої тераси гори, яка тут підіймала ся дуже стрімко мов стіна, так що стежка мусіла довгим вужем обкручувати вузкий, але глибокий яр. Відтам, із противного кінця ярка, з висшої його стіни, з поміж густої зелені буків та ліщини лив ся той голос — чистий,

дзвінкий та мелодійний, лила ся пісня повна туги і меланхолії, та при тім надихана якоюсь таємною житевою енергією, мов тужливий, а при тім так могутній своєю енергією гомін гірського потоку. Борис зупинив ся, напружив слух і прислухував ся до слів пісні :

Плине качур по Дунаю —

вистрілила в гору відома йому мелодія, мов протяжне, тужливе зітхане...

Плине качур по Дунаю —

повторили ся слова, та мелодія надала їм більше пристрасти; вони звучали тепер мов порив увязненої душі, що бачить перед собою широкий Дунай і граціозні рухи живучої птиці, а сама не може вирвати ся з гнітючих її оковів. І знов іде глибоке, пристрасне зітхане, розливаючи ся широкими тактами мелодії:

Дай ми Боже, що думаю!

І мов жайворонок із піднебної висоти камінцем спадає в низ, так і мелодія розсипаєть ся тихим хлипанем безсильного жалю:

Дай ми Боже, що думаю!

Борис слухав і тремтів. Чи то сила і ніжність голосу, чи красота та виразність модуляцій, чи чар улюбленої мелодії та поетичних образів, які він почув тут так несподівано, — досить, що він стояв мов причарований, запирав у собі дух і весь тремтів, несвідомо боячи ся, щоб пісня не урвала ся, щоб голос не затих і щоб уся ота сцена, ті золоті плями на сухім буковім листю, і отой густо-зелений яр, і оті могутні буки над його головою, і голос і пісня, і оте солодке тремтінє його тіла — щоб усе те моментально не щезло, не розвіяло ся, не показало ся злудю, сном, марою.

Але голос не уривав ся. Проспівавши одну зворотку пісні він, що правда, зробив коротеньку павзу, але потім зараз почав на ново мелодію, виразно, хоч із якимось особливим акцентом вимовляючи слова :

Я думаю мандрувати:
Жаль ми роду покидати.
Не так роду, як мамочки,
Що нас мала три синочки;
Що нас мала, згодувала,
Не однаку долю дала.

Пісня лила ся по горах лагідними, та проте широкими хвилями, вистрілювала високо дзвінкими нотами, то знов капала в низ золотим дощем мелянхолії. І робила чари. Вона заповняла вершок гори, оповивала його густим туманом невимовної туги і слала з нього рожеві хмари мов післанці десь у невідому далечинь. А потім розливалася важким хлипанем здавленого серця, болючими нотами одчаю та обурення на несправедливість долі, і знов вилітала з тих сумерків у гору до ясного сонця.

Борис заслухав ся і потопав у мріях. Та при тім і рефлексія не дрімала. Він чував у Відні всякі концерти і всяку музику, та вони не торкали так його серця й фантазії, як отєї прості, примітивні тони селянської пісні. Примітивні як стогнане або зітхане натомленої душі, а проте виспівувані зовсім не примітивними, а бачилось, високо культивованим, інтелігентним голом. І се ще збільшало чар і привабність пісні.

Голос плив мов річка, рівно, без утоми, без афектації. Якесь почуте гармонії та рішучости родило ся слухаючи його. Борис був тепер певний, що той голос не урветь ся, не розпливеть ся в нівицю. Він перестав тремтіти і почав ти-

хенько, нечутними кроками наближати ся до того місця, відки плыв голос. Він силкував ся не хруснути гилькою, не шелеснути листем, і рiвночасно напружував слух, аби не вронити ані одної нотки чудової мелодії. Ось він перейшов ярк, вийшов на його супротидежну стїну і помаленьку посував ся все далі й далі. Все ближше й ближше лив ся чудовий голос, та про те хоч і як силкував ся Борис проникнути оком у глyб зеленої гущавини, та дарма, співачки не було видно. Нарештї він наблизив ся так, що здавало ся, буцїм то голос виходить із найближшого бука. Стежка закручувала тут по над ярк і пняла ся стрімко до вершка; власне на тїм закруті була невеличка рiвна плятформа. З одного боку стежки простяг ся в низ здоровенний пень бука, Бог зна як давно зваленого бурєю і вже на пів перегнилого. Він лежав мов невеличкий вал; кора на ньому ще лиш де-де стирчала грубими клаптями, та переважно пообгнивала і повідпадала вже; деревляна маса струпішiла і кришила ся мов пухка глина; мов на глині на ній росли декуди вже корчі ліщини та молоді буки. Стежка обминала сього поваленого велетня і проповзувала аж туди, де кінчив ся його пень; там на грубшому кінці пень був iще не так струпішiлий; було видно, що буря повалила його для того, бо під ним кладено вогонь і в живому ще дереві від того вигоріла була значна дiра понад самим корінем. Той обгорілий пень стояв iще з другого боку стежки — величезний, чорний, мов стовп, у густім вінку молодих буків та ліскових корчів. Аж тепер, слiдячи тихесенько здовж того бука і наближаючи ся до його пня Борис міг завважити, що голос iде з пня. Там у зеленім вінку сьвіжих паростий, на чорнім стовбурі ста-

НА ЛОНІ ПРИРОДИ.

5

рого бука мусіло бути гніздо тої дивної пташки, якої голос бентежив ранішню лісову тишу. Помаленьку Борис висунув голову із за закрута на вузьку прогалину, якою йшла стежка з низу просто до пня і якою можна було окинути його очима. Зирнув і застив на місці. Серед зелені гилляк, що закривали верхню часть пня, видно було чудову дівочу головку. Вона обернена була до Бориса профілем і сьпіваючи дивила ся кудись у величезну прогалину, яку в низу під нею творили дерева, даючи вид на дальші гори. Соняшне проміне рожевою загравою обливало її лице та золотило ясноволосі коси, вінцем покладені над висками. Решта постаті тонула в зелені; лише тоненька шийка, щільно обциплена ковніром блідо-зеленої сукні, трошечка виринала понад темнійшу зеленъ листя.

Борис без руху, затаївши дух у собі вдивляв ся в сю чудову появу. Він зовсім не надіяв ся тут, серед диких лісистих гір побачити в таку ранню пору в таким місці таке ніжне сотворіне. Хвилину він завагав ся; в його умі мелькнули старинні казки про Дріяд, лісових дівчат, богинь дерев, що иноді являють ся людям, але зараз же його розум висьміяв ті мітичні фантазії. Річ мусіла бути натуральна, тим більше, що Дріяди на певно не вмiли співати пісні сплуженої над берегами Прута чи то Черемоша. Та проте що-ж се за поява?

В тій хвилі хруснула гилька, мельодія доплила до кінця і потонула в сутіни мелянходії, чудова головка співачки з легка повернула ся лицем до Бориса, і в найближшій хвилі пара дивно гарних, блискучих та живих очий зустріда ся німим поглядом із його очима. Було щось невимовно принадне і таємниче в тім німим погля-

ді наївних, майже ще діточих, а вже таких цікавих і вдумливих очий. І цікавість, і якась неясна туга, житева радість і інстинктова тривога світили ся в них. Борис стояв мов очарований тим зором, не сьмів ворухнути ся, чуючи, що найблизша хвиля аж тепер може розвіяти се чудове явище і бажаючи як мога продовжити сю хвилю непевности та загадковости, чуючи в ній найвисший чар, найкращу принаду життя.

Та нараз ясні очи потемніли, рожеве личко мигом похилило ся в низ, і в найблизшій хвилі воно поблідло і з рожевих усточок вирвав ся окрик тривоги.

— Ай, ай, ай!

Борис затремтів і сам не знаючи, що робить, швидко вибіг із гущавини і подав оя в напрямі до пня.

— Що там таке? — скрикнув він.

— Ай! — почув ся новий крик із зеленої гущавини на пні.

Борис розхилив корчі і приступив ближе до пня. На пні стояла молоденька, струнка панночка в блідо-зеленій сукні, без капелюха і мантильки, без парасольки, немов перед хвилию вийшла з покою, і з виразом невимовної тривоги показувала пальчиком у низ, на свої черевики, що потонули були в зеленім моху та сухім листю, яким заповнене було випалене, вижолоблене дно старого букового пня.

— Що там таке? — запитав Борис, приступаючи ще ближе.

— Та допоможіть, а не допитуйте! — скрикнула на пів жалібно, а на пів сердито панночка, простягаючи до нього руки. Він узяв ті руки — дрібні, майже дитячі ще, а про те пухкі та

повні як у дорослої панночки, і допоміг їй зіско-
чити з пня. Опинивши ся на землі вона станула
біля нього, при чім показало ся, що була значно
низша від нього, бо верх її золотистої, простень-
кої та пахучої фризюри сягав йому до чола.

— Пані перелякали ся? — запитав Борис.

— Ох, на смерть! — відповіла панночка.

— Щож там таке було?

— Гадюка! Страшенна гадюка! — з неви-
мовною трівогою, вся бліда і тремтючи мовила
панночка.

— Боже! — скрикнув і собіж переляканий
Борис. — Може вкусила вас?

— Можливо! Вила ся по моїй нозі.

— А чуєте біль?

Панночка підняла в гору зразу одну, по-
тім другу ніжку, обуту в делікатні прунельові
черевики.

— Або я знаю! Я вся задеревіла зо страху.

Борис усміхнув ся і кинув ся до пня,
щоб перешукати його вижолоблене.

— Йой, не йдїть там! — скрикнула пан-
ночка. — Вона й вас укусить!

— Ну, побачимо бодай, що то за гадюка,
— мовив він, заглядаючи в те оригінальне гні-
здо. Та в тій же хвилі зареготав ся і пошпорта-
вши пальцями обернув ся до панночки і запи-
тав її:

— Може се та гадюка?

І він підняв у гору руку, в якій двома
пальцями за хребет держав здорову саламандру.

— Йой! — скрикнула панночка, — кинь-
те геть! Вона вас укусить!

— Алеж вона не кусає! — мовив сьміючи ся
Борис. — Се не гадюка! Се невинна саламандра.

— Салямандра? — скрикнула з комічним острахом панночка. — Та страшна салямандра, про яку — —

— Про яку говорять та пишуть усякі байки, буцім то вона в огні не горить і їдь має в хвості і ще Бог знає що. Та сама, та сама! Ось гляньте. Се зовсім невинне сотворіне.

— Господи! Якеж погане! — мовила панночка, осьмілюючи ся на стілько, що зважила ся поглянути на те дивне сотворіне, що безпомічно та незграбно, повільними рухами кривило ся в Борисових пальцях то в сей то в той бік, перебирало лапками та повертало голову то на право, то на ліво. Нарешті Борис кинув салямандру назад на те місце, відки взяв її, і обернув ся до панночки, що все ще стояла на тім самім місці, де він поставив її.

— А тепер позвольте, пані, що вам представлю ся, — зачав він якось церемоніяльно.

— А то по що? — відповіла панночка. — Мені зовсім не цікаво знати, хто ви. А признайте ся, за кого ви прийняли мене, побачивши вперве?

— Може се вам сьмішно буде, — відповів Борис, — але скажу вам по правді. Почувши з далека ваш спів я тихенько підповз отсею стежкою і побачивши вашу голову серед зелені я прийняв вас за одну з тих Дріяд, тих лісових німф, у яких існуюване вірили колись Греки.

— Ха, ха, ха! — зареготала ся панночка якимось проймаючим і, як бачило ся Борисови, неприродним сьміхом. — Отсе гарно складаєть ся! А я побачивши ваше лице вихилене з поміж листя лопухів прийняла вас за лісового Фавна. Ха, ха, ха! Правда, як гарно складаєть ся!

— А я й не думав, що моє лице має пригадувати Фавна, — мовив Борис, троха немилю вражений сим порівнанем.

— Я тому не винна, що мені так видалося. Се було вражине першої хвилі. Ну, але тепер будьте здорові. Мені ніколи довше балакати з вами.

І вона раптом обернула ся, вискочила на стежку і махнувши йому правою рукою на знак прощання, а лівою зібравши свою не зовсім іще довгу сукню погнала в низ і по кількох скоках щезла в гущавині. Борис довго ще стояв на місці і надслухував, але ані один звук, ані один стук ані хрускіт ані шелест не давав знати, куди вона побігла. Здавало ся, що полетіла з вітром або впірнула в лісову зелень як одна з її складових частин.

— Агій, от іще! — промовив Борис отрясаючи ся з незвичайних вражінь сеї несподіваної стрічі. — Ніколи-б не був надіяв ся наскочити тут у лісі на таке диво. І що вона за одна? Чого блукає по лісі? З її поводження видно, що вона або дуже розпещена і не знає ще зовсім світа, або псіхічно ненормальна. Цікаво булоб пізнати її ближше. Ну, та на се ще мабуть буде досить часу.

І він рушив далі в дорогу до вершка гори. Ще було кількадесят кроків дуже стрімкої дороги до краю ліса, а повисше ліса була вже гола полонина, серед якої півкруглим стіжком підіймав ся в гору сам шпиль гори.

Вийшовши з ліса, де не вважаючи на густі золоті плями, струмки та нитки від соняшного проміння все таки стояла ще сутінь, Борис зразу мусів аж прижмурювати очи, — так ярко світило тут сонце, що вже підняло ся, як те нажуть, на три праники над сусідню також лису

гору. Проте було досить холодно. Повітре було чисте, чудове, пахуче, що, бачилось, так і лило ся цілющим бальзамом у груди. На вершку тяг досить різкий полонинський вітер, а в напрямі до заходу видно ще було на дальших горах настобурчені величезні шапки мряки, тепер позолочені соняшним промінем. Борис зупинивши ся на найвисшій шпилі зітхнув глибоко і почав уважно розглядати ся довкола.

Вид був чудовий, якого і в горах рідко можна запопасти. Всі долини, які видно було з вершка гори, були ще завалені клубами непрозорої мряки, що в низу біліла ся мов молоко: Ані лісів, ані сел, ані нічого не було видно з тої топії. Тільки вершки гір визирали з неї, мов рідкі круглі острови, а довкола них клубили ся густі тумани, то підіймаючи ся в гору, то опадаючи в низ, немов би бентежені з під споду якимись велитенськими руками. Соняшне проміне золотило з горі поверхню того повітряного моря, де-де заломлюючи ся блискало пурпуром або багровими пасмами, а над одним місцем стояло скісним стовпом веселки; Борис догадав ся, що там у низу мусить бути якесь водяне плесо.

Та ось поверхня того барвистого моря захвилювала дужше й дужше, в ньому почали робити ся все глибші розсілини тай уся його поверхня якоесь знижувалась, опадала, таяла. З під барвистого серпанка виступали що раз виразнійше темні стіни лісів, стіжковаті бовдурі розріжнених дерев, тонкі та безконечні нитки воріня, що тут і там обмежувало царину, відділяючи її від толоки. Далі зі дна того повітряного моря почали мов блискучі сталеві шпади виколівати ся острі леза — се відблиски води, о яку в низу відбивало ся соняшне проміне. Зама-

ячіли сільські хати, забіліла ся лісничівка під супротивною горою, почув ся на сусідній полонині мелянхолійний голос трумбети, що супроводив турму овець на пашу. І з низу, з села поплили одна за одною череди різнобарвної худоби. Ті невеликі череди йшли повагом вузкими стежками, з обох боків обгородженими воринем, підіймали ся все в гору та в гору, раз тонули в ярках, що перебігали поперек стежки, то знов звивали ся пестрим вужем висше в гору, пiali ся по збочах і нарешті минувши пояс царин розсипали ся по толоці поміж ялівцями і смерічками. І все те робило ся тихо, без звука та шуму, аж моторошно було дивити ся, бо ані дзвінків на шнях коров, ані гейканя пастухів, ані бляння телят, ані лусканя батогів за віддаленем не було чути; про те пречисте гірське повітре так ясно рисувало всі дрібниці і так наглядно ставило перед його очима, мало що рукою не досягнути.

А в низу тимчасом уже зовсім прояснило ся; мряка розійшла ся або позаховувала ся великими клаптями десь у яри та звори, або висіли маленькими плахтами над мокравами, де стікала вода з гірських жерел. Села в низу вже метушили ся; видно було рідкі купки людей, що йшли хто в поле до роботи, хто в ліс із блисковою сокирою за ременем. Над рікою тут і там червоніли ся спідниці прачок, що стояли похилені по коліна в воді і махали праниками, — але лускане праників не доходило до Бориса. Тільки здоровенна срібнолуска гадюка корчачи ся та звиваючи ся опоясувала гору з трьох боків, де-де мінячи ся пурпурою або селединовозеленим кришталем — се був Стрий з його незліченними закрутами, плесами та бродамп.

А Борис сидів на вершці гори та любував ся тим видом, до якого стільки літ тужив у хвилях, коли його думка по мандрівках у світі на-уки та праці вертала »до себе«. Ось вона, його рідна країна, така сама гарна і така сама нетикана новочасною культурою, як він десять літ тому назад покинув її. Тихий, чудовий куток, забутий Богом та історією. Люди родять ся тут, бідують, тішать сь і плачуть і мруть так самісїнько, як оті буки в лісі або трава на толоках. Вони гинуть і не лишають по собі тривкійшого слїду, як оті букові пні та корені, що ще по сотці літ свідчать про істноване гірського велетня, в пору, коли нові покоління давно розточили та рознесли його тіло. Дерево й солома — ось увесь матеріяльний підклад тутешньої культури, то чиж диво, що вона така нетривка, така примітивна, що ні світ про неї не знає, ні внуки не мають по чім згадувати своїх дідів! А він так рад би внести нову течію в те тихе, монотонне жите, в те спокійне вегетоване людей на лоні природи. Оттут у затишнім заломі гори, в тій видолинці захищеній кам'янистими стінами від півночі, сходу й заходу, виставленій на південь, до сонця, захищеній та покритій тепер відвічним дрімучим лісом, — тут повинна повстати перша оселя нової культури. Борисова уява енергічним рухом зрубала ліс, прочистила долину, і вже плянтує її, покриває сьвіжою зеленю, деревцями, доріжками. А посеред того маленького раю природи здвигає горду, тривку будову культури: біліють ся муровані стіни, блискотять до сонця великі вікна, червонїєть ся черепаний дах, скриплять залізні медведі на струнких комилах, роять ся люди на ганку, на доріжках. Онде з боку ряд гойданок — радість дїтвори тай дорослих; тут

і там у особливо затишних місцях, на живописних пунктах стоять альтанки зі столиками та лавочками; дерев'яні лавочки розставлені скрізь на закрутах доріжок. У низу, близько ріки стоять економічні будинки, кухні, шопи, стайні. Всюди кипить жите, йде невсипуча праця, але не та сонна, нелюба; яка тепер не то підтримує, не то заїдає вбоге людське жите, а та радісна, бадьора, що являється впливом нагромадженої житєвої сили й енергії і втомляючи тіло плодить засоби нової сили й енергії.

Та тут у пишнobarвну тканину його мрій замішала ся якась нова нитка. Майнула зразу мельком, а далі якось тягом рожево-золота головки в рамці сутої зелені і з якимось зеленим продовженням, що губило ся десь у зеленому тлі малюнка. Мов комета з рожево-золотою головою і зеленим хвостом. Вона визирнула — здавало ся Борисови — з одного вікна його мрійного палацу, а потім визирала що раз частійше з усіх альтанок, із усіх доріжок, із усіх закутків; тягла ся рожево-зеленою стяжкою рівнобіжно з усіми пасмами його мрій. Ах, се та Дріяда, яку він так несподівано і в такій чудернацькій обставі здібав сьогодні рано осьтут у низу на стежці. Чого вона хоче і яке їй діло мішати ся в його рай? Чи ве може та квітка, що має стати ся його найкращою оздобою, що має своїм запахом і своєю красою оживити, довершити його? Борис чув, як у нього живійше забило ся серце якоюсь невідомою доси непевністю, тугою, ожиданкою та острахом.

Женщини доси не грали в його житю ніякої видної ролі. Він учив ся серед недостатку, боров ся тяжко та витривало за жите, здобував знанє, освіту, становище в світі і на се йшли

всі його сили і всі його помисли. Він привик доси числити тільки на себе і дбати тільки за себе. Женщин він уважав предметом роскоші, люксовим меблем, а в приложеню до себе — математичним зрівнанем із двома невідомими, яке вносить непевність і хиткість у всі житеві рахунки. А він так любив певність і ясність, і му-оїв любити їх під загрозою утрати всеї підстави свого істнованя, під загрозою морального та економічного банкрутства. І свої відносини до тих немногих женщин, з якими йому доводило ся мати зносини там у Відні, він силкував ся відразу поставити на основах певности та ясности, і все якось виходив на тім добре. Але отся рожево-зелена поява — він чув се інстинктивно — була зовсім з иньшої категорії, нездібна уложити ся в рами його формулок. Се було зрівнане не з двома, а певно з двацятьма невідомими, якась рожево-золотисто-зелена загадка, здібна заплутати і збаламутити хоч і як взірцево ведені житеві рахунки. Ні, ні, не їй місце у мріях селянського сина, лікаря, що має перед собою важкі особисті й національні задачі. Правда, Борис не знав, хто вона і до якої народности зачисляє себе. Вона співала по українськи, і Борис не міг утаїти перед собою того, що власне ся українська пісня найдужше вхопила його за серце, ще заким він побачив співачку. Вона й говорила з ним потім по руськи, але з якимось неруським акцентом, з неруським, горляним відтінком у голосі. Тай уся її поведінка — не руська. Було щось фантастичне, романтичне в її рухах і словах, зовсім манірне, претенсіональне, незвичайне і майже неможливе у Русинки. Борис аж тепер пригадав собі все те ясно і підвівши суму своїх спостережень рішучо похитав головою.

-- Ні, ні, се не для мене! Се чужий елемент. Се небезпечний демон. Дріяда, покуса. Что мні і тобі, жено?

І він махнув рукою, немов бажав відігнати спокусливого демона.

Та в тій хвилі в його уяві знов мигнула рожева головка в золотистім вінці кіс і з продовженням зеленого хвоста, що губив ся десь у неозначенім тлі темної зелені. І його груди нехотя підняли ся, і з них видобуло ся важке, тужливе зітханє.



Щ у қ а.

В похиленім у воду корчі при березі, обслонена крутими лозовими гіляками, лежить здорова щука. Вона спить. Помаленьку вона рознімає свою пащеку і випускає воду зівами. Лежачи животом на м'яккім намулі вона легесенько грає в воді червонуватими крилами і хвостом. Її відкриті очі не бачуть нічого. Вона спить як добре поліно, а в її рибячій мізку мов легенькі хмарки пролітають невиразні мрії.

Ось в її уяві мигнув учорашній клень. Бестія собача! Як добре вона засіла була на нього в шуварі! Цілком укрила ся. І він не бачив її. Риючись своїм тупим ротом у намулі він наблизив ся до неї зовсім, зовсім... І вона раптом кинула ся на нього, та що з того! В однім перечеислила ся. Клень був крихітку за великий для її пащеки. Вона на хвилину почула його голову між своїми зубами. Але в тій хвилі клень махнув хвостом, крепко вдарив ним воду і торкнувши її головою в живіт, шмигнув у корч. От бестія! От поганець! Щука крізь сон гнівно замахала підчеревними крилами і посунула ся пів ціля наперед. При тім вона торкнула ся носом до гілячки і прокинулась.

Рибячий мозок не вдержує вражінь так, як янап. Прокинувши ся щука вже не тямилà того, що їй снило ся. Не рушаючи ся з місця вона повела тим оком, що гляділо до плеса. Що то там чувати? Чи не воює проклята видра?

При згадці про видру у шуки затремтіло хребетне крило. Там на хребті у неї ще болів шрам від видриних зубів. Щука вже не тямить докладно, коли се було, — її пам'ять не сягає дальше вчорашнього дня, — але страх перед видрою, се у неї не нинішнє або вчорашнє вражінє, а відвічна, родова традиція, що разом з нею ви-кльовуєть ся на сьвіт із матірньої ікри. В тім страсі щука родить ся й виховуєть ся. Той страх гонить її весь вік, не покидає ні в день, ні в ночи. Правда, в день сей ворог не такий страшний, у день він і сам звичайно мусить ховати ся перед иньшими, сильнішими ворогами, то й щука в день у воді пан. Але в ночи! В ночи щука спить, а видра гуляє. І ось від тисячних поколінь у неї набираєть ся мудрість, як хоронити себе в ночи від видри. Хоч яка приятелька широкого плеса, глибоких вирів, вільного водяного простору, щука на ніч з нужди та з мусу ховаєть ся попід береги, в шувар або в ломаче та гияче, шукає таких криївок, де-б. видра не могла добачити її; або навіть добачивши не могла-б несподівано ді-стати її в лапи, мусіла-б продирати ся до неї, бовтати ся — і збудити свою жертву та нагнати її до втеки.

Недвижно лежить щука на своїй мягкій по-стелі, ослонена крутими лозовими гияками. В плесі тихо. Сонце недавно зійшло і скісним промінєм золотить саму середину плеса, лишаючи в тіни саме той беріг, під котрим лежить щука. З холодної води підіймає ся проти сонця леге-

сенька сива пара. Тихо-тихо сковзаєть ся вода в плесї, гладка мов зеркало. Не чути нічого і сїнько. Ні один найменший рух не ворухить водяного спокою. Дрібнесенькі рибки, що в день тисячами снують ся під поверхнею води і що хвиля витикають свої ротики на повітре, тепер ще сплять по криївках. Он тут безпосередно під щукою, на гладкому глинистому дні дрїмає ціла череда товстопузих ковблів. Вони лежать один коло другого, грубенські і красенські мов курята на сїдалї. Щука ширше рознімає рот побачивши їх. Смачні бестіони, нема що казати! Але їй ще не пора снідати. Ще вода холодна, в жолудку ще чує решту вчорашньої плотиці, а в холодній водї вона не травить ся так швидко. А про те сам вид тих невинних, товстенських та повільних ковблів розрадував щучине серце. Що за приємні сотворїня! Щуці робить ся сантиментально на душі. Вона любить ковбликів — не менше щиро, не менше ніжно, як пани своїх підданих, як пастухи своїх овець. Тепер, поки ще не голоднє, вона готова-б притиснути до свого серця першого-ліпшого з них, або і всіх. Коли-б тільки дали ся! Та ба! Ті дурники боять ся її, не вірять їй і вона мусить хитрощами наближати ся, підкрадати ся до них, мусить силою задержувати їх, щоб не тікали. А що рук у неї нема, тільки зуби в ротї, то дуже часто ті бідні добряки замісь на її закоханому серці опиняють ся в її голодному животї. Ай, як се сумно! Але щож, вона сьому не винна. Вона так любить тих бідних, добрих, грубенських ковбликів, а любов коли раз опанує щучине серце, робить ся непереможною. Нічого проти неї не вдїєш.

Та гов! Щось хлюпнуло ся в водї. Пішла легенька хвиля і полоскотала щуку по боках. Що

се таке? Шука не рушаєть ся з місця, але надслухує. Сонна лїнивість ще держить у обіймах її тіло. Що се таке хлюпаєть ся в воді? Се не видра. О, видрице хлюпане вона знає! Видра чалапкає по воді так грубо, голосно, а потім дає нурця і щезає зовсім, бігаючи по дні, — а тут щось иньше. Шука лежить на своїм місці, обернена мордою против води, і не бачить нічого. Надслухує, лїниво рушаючи крилами, але не бачить нічого. Плюскіт затих, тільки поверхня плеса все морщить ся; легесеньки гребені хвиль набігають один за одним і тихенько лоскочуть шуку по боках, по мягкім, лускатім животі. Лоскочуть, пестять її і вона немов засипляє на ново. Вона чує себе безпечною в своїй схованці з поплутаних, крутих гияляк, пеньків і коріня. Який ворог побачить її тут? Хто може досягти її? Хто буде надїяти ся, що вона тут? А ось коло неї хиба не лежить груба вербова гияляка, так само сіра, так само слизька, бо обросла водяним мохом, так само проста і острокінчаста, як шука? Кілько разів се поліно, занесене сюди повіню, було найліпшим захистом для шуки! Здалека дивлячи ся — два поліна лежать під берегом. Навіть старий рибак Сарабрин пару разів спіймав ся на сю хитрість. Раз навіть, утомлений довгим і даремним лаженом по річці, він ідучи поуз отього корча і побачивши ті два поліна, гнівно торкнув їх бовтом і пробуркотів:

— От іще помана не поліно, зовсім подібне до шуки!

І яка-ж була його гризота, коли та »помана не поліно« при дотику його бовта що сили вдарила хвостом і зігнувши ся в півколесо, кинула ся стрілою навпростець, гупнула його в живіт

мов добрий цуцик і вдаривши ще раз хвостом по воді, скрутила ся і щезла в глибокім плесі.

— Тьфу та пек на тебе! — бурчав Сарабрин. — Ото! А се й справді шука була, Бог би її побив! Ото! А я дурень ще й торкаю її бовтом під ніс, а сак на плечах держу. Ну, чи видів хто такого дурня, як я, га? Таку здоровенну шуку самохіть із рук пустити!

Старий Сарабрин міг легко потїшити ся. Таких дурнів, як він, було і є далеко більше на сьвіті, ніж йому здавало ся в хвилі пересердя.

От хоч би взяти Антошка, Сарабринового сина. Хлопчище вже здоровий, другий рік пастишить. Здавалось би, що й глузди в голові має. А з отсею самою шукою яку мав пригоду! Адже перед тижнем узяв його батько з собою на рибу.

— Ходи, Антошку, — мовив він, прикликавши його до себе з другого кінця величезного громадського пасовища. — Ось тут в Горбачовім плесі здоровенна шука є. Я колись то мало не вчепив її в сак, але бояв ся, щоб не продерла. (Старий збрехав. Йому стидно було признати ся, що самохіть сполошив шуку, принявши її за поліно). Так от я винїс волочок. Ходи, роздягни ся! Затягнемо пару разів, то певно буде наша!

Антошко не дуже радо послухав батька.

Вода холодна! — мовив він.

— Та де тобі холодна! Ади, як пече сонце! Вода як літепло.

— Глибоко там.

— Не бій ся! Ти підеш плитшим берегом, а я глибошим.

Врешті хлопець роздяг ся. Полїзли в воду, затягли волочок раз — нема шуки; затягли другий раз — нема. Ідуть чим раз у глибошу воду, а батько знай шепче та напучує сина.

— Обережно, хлопче! Пильнуй ся! Ось тут під сей корч заставимо. Тут вона мусить бути. Скоро тільки торкне ся в сіть, зараз підіймай своє крило!

— Добре, татку, — мовить хлопець, а сам аж зубами січе та тремтить — не то від холоду, а не то від нервового напруження ожиданки і зо страху, щоб як небудь не випустити таку велику щуку.

Обставили корч.

— Уважно, хлопче! — крикнув батько і гуркнув бовтом між гиляки. А щука власне сиділа в тім корчи. Вона бачила рибаків, бачила, як вони затягали сіть, але що як раз була по добрім обіді, вловивши порядного кленя, то й не квапила ся втікати. Аж булькіт води від бовта перелякав її мов удар і вона що сили вдарила головою в сіть.

— Підіймай! Підіймай! — скрикнув старий батько. — Щука є!

Еге, е! Хлопчище зо страху і з холоду стратив притомність і замісь підняти спідній кінець у правий бік, він підняв його в лівий — отворив щуці широкі ворота. Вона тільки раз булькнула, показала Сарабринови хвіст тай шмигнула куди очи бачуть. А старий став мов осуджений.

— Ну, Антошку, — промовив він. — Я думав, що як я вмру, то найбільшого дурня на світі не стане. А тепер бачу, що ще більшого лишу по собі.

— Або я вам не казав? — добродушно і жалібно промовив Антоніко. І оба тремтячи з холоду і зворушення вилізли з води.

Щука не добре й розуміла всю вагу сеї пригоди. Її рибячий мозок під впливом довговікової традиції далеко більше бояв зя видри, ніж

чоловіка, і звичайно втікши зперед рук рибаків вона й не міркувала гаразд, як близько була смерті.

І в отсій хвилі вона не міркувала того. Вода була ще холодна, травлене в її животі йшло ліниво і вона не дбаючи на легенький плюскіт, що доходив до неї з дальших закрутів річки, лежала собі, не то дрімаючи, не то колишучись у мріях. Про що марила вона? Певно про те, як то вона на свідане проковтне пару отих ковбликів, що в таким іділлічним настрою лежали на дні вирка онтам перед її очима. А на обід, коли сонце пригріє, вода потепліє і їсти дуже захочеть ся, вона мусить зловити кленя, одного з тих грубих, тупорилих та лінивих водяних джигунів, що нажерши ся всякого хробацтва в полудне випливають на верх і горді на свої пишні червоні крила шпацирують собі до сонця, тягаючи за собою цілі рої тої глупої дїтвори, дрібних плотичок та соняшниць. Хоч би там не знати що, а вона мусить одному з них сьогодні зробити капут! Та вже сьогодні вона не буде така дурна, як була вчора, не кине ся на найбільшого, того череватого, завбільшки з підсвинка. Цур йому, старому валилови! Нехай дожидаєть ся Сарабрина. Вона вибере собі котрогось меншого. І так їх у отсьому плесі є з шів копи. Правда, тепер їх не видно, драбугів! Вони сплять у печерах, під колодами та в глибоких норах у опоці на самім дні. Там вони безпечні і від видри і від щуки. Але нехай тільки пригріє, вже вони як непишні повилазять із своїх нор, а тоді побачимо!...

Гай, гай! Щучині мрії! Чим ви певнійші, ближші здійсненя від людських?

В тій хвилі, коли щука оттак укладала собі денний порядок нинішньої днини, ми побачили

її. З одним товаришем ми вибрали ся рано на рибу. На Горбачево плесо ми мали свій плян, бачивши вчора, як здоровенна щука бовтнула ся в шуварі ловлячи кленя. От ми й вийшли рано, знаючи, що в ту пору — була сема година — щуки ще сплять при березі, і міркуючи, що застанемо її десь на гнізді. Правда, вода була ще холодна, але нам се було байдуже. Тихесенько розвинувши волочок ми наближали ся до найглубшої часті плеса, держачи ся близько берегів, оброслих густими лозовими корчами і силкуючи ся робити як найменше шуму і плюскоту.

Наша праця була не даремна. Майже під кожним корчем ми захапували то кленя, то окуня, то плотицю, що плюснувши ся два-три рази в волочку мандрували до нашої рибачької торби. Але великої щуки не було.

Вода в плесі була чим далі, тим глибша. Ми знали, що там, де береги стіснили ся і творять неначе гирло, обставлене з обох боків грубими коренастими вербами, вода була глибока майже на два метри. Там нам не зайти і коли наша знайома щука там ночує, то ми не зробимо їй нічого. Але про те ми йшли обережно далі, доки позволяла водяна глибінь.

— Ось вона! Ось вона! — прошептав мій товариш, зупиняючи ся непорушно на місці і моргаючи очима в той бік, де лежала щука.

Я побачив її майже рівночасно.

— Заходи під беріг! Під самий беріг! — шепнув я товаришеви.

За кілька секунд наш волочок вигненим луком обхапував той корч, під котрим сиділа щука. Правда, задля гиляк, що стирчали в різні боки в воді, годі було добре заставити і затягнувши волочок ми ще з мінуту поправляли його, щоб

добре було підняти. Рівночасно я не зводив очей із щуки. Вона також побачила мене, бо не рушаючи ся з місця нараз живо замахала черевними крилами, немов збираючи ся скочити.

— Добре стоїш? — запитав я товариша.

— Добре. Бовтай!

Та щука не чекала бовтаня. Почувши наш голос вона як стріла рушила просто на мене. Між мною і берегом було ще досить вільного місця, котрого задля водяної течії годі було обставити сітю. Сюди вона міркувала прошмигнути, так як певно не раз уже прошмигнула иньшим рибакам. Та я був приготований на сю хитрість. Сильним ударом бовта я перегородив їй дорогу і змусив щуку викрутити ся півколесом на ліво. Вона тільки моргнула передо мною своїм широким як праник хвостом і щезла в глибині. Та я був спокійний. Я знав, що тут вона не втече від нас. Ще один удар бовта і щука що сили гопнула ся в волочок.

— До гори!

Спід волочка підлетів до гори, середина утворила глибоку зачеревину, а в ній мов у довгій та вузькій клітці шибала собою щука.

— В зад! В зад! На мілку воду! — крикнув я товаришеви, і звільна, обережно, держачи край волока понад водою, ми вийшли на плитше плесо.

— Гов! Чи не втекла вона? — з острахом запитав товариш. — Якось не чути її в волоці.

Ми приперли волочок до берега і живо підняли його весь над воду. Крізь очка забіліло ся широке, товсте щучине черево.

— А, здорові, кумо! — крикнули ми радісно. — Просимо ближше!

Щука почала кидати ся в сіти, але се вже була даремна праця. Я вхопив її обіруч, щоб не продерла сіти, товариш зібрав крила волочка і за хвилию оба ми разом зі щукою були на березі.

— А, добрий день вам, кумасю! Ось де ми з вами здибали ся!

Щука кидала ся завзято в траві, поки ми передягали ся в сухе шмате.



Odi profanum vulgus.

I.

Почало ся від того, що у старої Василихи здохла корова. Три дни вона плакала за нею, як за рідною матірю. І Петрусь плакав. Бо хоча ціле літо він мучив ся водячи її на воловоді пасти попри дороги і по межах, а про те знав уже — йому було 11 літ — що вона, так сказати, держала їх обое на світі, його і бабу Василиху. А тепер, коли корова зірвавши ся в ночі з по-сторонка вискочила з подвіря, вскочила у пацьку конюшину, напасла ся її з росою і рано здохла, Петрусь чув своїм дитячим серцем, що надходить якесь лихо, хоч і не знав, яке воно буде і на чийй голові окошить ся.

Четвертого дня, коли корову вже давно обдерли зо шкіри і закопали і коли Василиха продала шкіру, вона троха заспокоїла ся. Її очі були ще червоні, лице пожовкло і поморщило ся як порожній мішок, і прикликавши Петруся, що сумний, без діла нишав по подвірю, вона мовила до нього :

— Петрусю!

— Га!

— Збирай ся, дитино, поїдемо до Львова.

— А то чого до Львова?

— Заведу тебе до твого тата.

— До могого...

— Так, небоже. Я не можу тебе довше держати. Доки була корова — вона обтерла собі запаскою сухі очи. — А тепер що ти будеш робити у мене? І чим нам жити? Зима недалеко. У мене нема ні поля, ні рілі, нема збіжя ані бульби. Є оборіжчя сіна, що було зладжене для корови, ну, але що мені тепер з нього? Спродам, хату замкну і піду в комірне. А з тобою що буду робити? Тих п'ять ринських, що дає твій тато на твоє удержане, на нас обое не вистарчить. Поки була корова, я продавала молоко, то було за що жити, а тепер...

Страта корови, то була та »чортова дірочка«, в котру пішли всі надії, всі радощі, всі помисли бідної Василюхи.

Петрусь стояв перед нею мов облитий змочною водою. Його губенята поблідли, очи витріщили ся. Він довго надумував ся, поки вкінці промовив:

— А як тато не прийме мене?

— То нехай собі робить з тобою, що хоче! — з серцем промовила Василюха. — Не хочу його гроший і тебе далі тримати не можу! Щож то, я невільниця яка? Не досить, що одинацять літ промучила ся з тобою?

Петрусь похилив голову і заплакав. Баба відвернула ся — їй самій серце краялось, а ся дитина, чужа, »панська« дитина, за одинацять літ успіла прирости їй до серця. Але що було робити? Треба було відірвати її. Нужда не тітка, а зима не мати.

— Ну, ну, не плач, дурний! — мовила вона. — Твій тато також не зьвір. Хоч доси він не хотів бачити тебе, але тепер як побачить, то певно прийме. Ади, який ти виріс у мене!

І вона ласкаво погладила його кучеряву головку.

— Не бійся! Тато дасть тебе до ремесла, навчишся чогось у Львові, будеш чоловіком. А тут на селі що з тебе буде? Пастух, наймит, попихач і більше нічого.

Петрусь обтер сльози з лица. Його очі сьвітилися як дві іскорки. В них горіла цікавість. Він доси ніколи ще не бачив Львова, не бачив свого тата — гарного, молодого пана, що платить бабі по 5 ринських місячно за його удержане. І в його головці під впливом бабиних слів почали вже роєм тиснутися картини високих-високих домів, великих вікон, блискучих вистав, освітлених нічю вулиць, про які так часто розповідала йому баба Василиха. Весело він почав збирати ся в дорогу до Львова.

Другого дня раненько обоє з бабою пішли пішки до найближчої стації залізниці, аби відси дістати ся до Львова. Баба мала за пазухою пів хліба, головку чіснику і крихту соли, а в окремій пиматині завинене посьвідчене від пароха і від начальника громади, що хлопчик Петро Гарасимів, *illegitimi thori*, вроджений і охрещений у тім селі, пробував доси на вихованю у Олені Василихи. Окремо посьвідчувала учителька, що Петро Гарасимів учав три роки до сільської школи і скінчив її з дуже добрим поступом.

Се була вся амуніція, з якою Петрусь під проводом баби Василихи одного гарного осінного дня вирушив здобувати сьвіт.

II.

В редакції одного поступового і демократичного львівського дневника власне скінчила ся робуча пора. Хлопець із друкарні сказав, що «скриптів» на нині досить. Шеф редакції зараз кинув перо, надів пальто і пішов до друкарні, щоб роздивити весь даний і наскладаний матеріял і зложити з нього цілість нумеру. Співробітники при своїх бюрках мовчки кінчать кожний свою роботу. Чути скрип пер, шелест паперу, брязк ножиць. Дехто скінчивши писане кидає перо і віддишає. Інший кине під носом, не можучи вбгати в одно речене те, що йому хочеть ся.

Тишу перервав заграничний політик, що дописавши своє пензум зірвав ся з місця мов опарений і перевернув крісло, на яким сидів доси.

Заграничний політик.

А чорт! Сказіть ся ви зі своїми Бісмарками, Гледстонами, Конґами та Булянжерами! Аж голова тріскає від усіх тих дурниць. І по що все те перемелювати? Чи того хто читає? А як читає, то що йому з того прийде? Адже найрозумішійший може здуріти від того. Се кондензована бляга, екстракт глупоти і дурисьвітства.

Критик (не підводячи голови від роботи).

Хоч раз пан Вінкентій оцінив свою працю так, як вона того варта.

Заграничний політик.

Скажіть докладнійше: працю всіх нас, газетярів.

Внутрішній політик.

Перепрашаю, я не давав уповажнення говорити в моїм імені. Ми демократи: кождий відповідає за себе.

Критик.

І пише дурниці на власну руку.

Репортер.

Er ist ein Narr auf seine eigne Hand.

Заграничний політик.

Розуміть ся, репортери всюди мають першенство.

Репортер.

Тільки не перед дипломатами.

Внутрішній політик (скінчивши роботу, встає).

Панове, тільки без зайвих компліментів! Займім ся якоюсь реальнішою роботою. Устроюємо снідане?

Всі.

Добре, добре!

Внутрішній політик.

Складка! (Всі складають по пістці).

Критик.

А я забавлю ся в пророка і провозвіщу, що зараз сюди прибудуть професор Бомба і артист Битва.

Почувши се пророцтво, всі з реготом обернули ся до вікон і побачили на тротуарі обох згаданих панів, що серед живої розмови йшли до редакції на звичайне балакане. Коли вийшли,

внутрішній політик не давши їм ані привитати ся, ані сісти, здер із них по шістці складки, а потім вийшов до адміністраційного льокалю, щоб наказати слугі, кілька горілки, булок, шинки і т. и. має принести.

Професор (високий, грубий, рудий, з апоплектичним лицем, громовим голосом).

Kreuzbombenelement! Не люблю того!

К р и т и к (флегматично).

А по що професор дав шістку?

Професор.

Не про шістку мова. Тут ось сей пан — пане малий, як пана ваблять? —

А р т и с т.

Артист маляр Парафіянський, званий також Битва під Грунвальдом, do usług pana profesora dobrodzieja.

Професор (усьміхається добродушно).

Но, но, того dobrodzieja дарую вам. Отже як сказано, не люблю тої вашої нової штуки, що ніби то обертається до вибранців з тонким смаком, а на правду дурить сама себе і хоче дурити нас, або вимагає від нас якихось иньних нервів, ніж ті, якими наділила нас природа.

А р т и с т.

Ściele się do stópek jaśnie wielmożnego pana. Я також не люблю цибулі ані її запаху.

Професор.

Як то? Як то? При чім тут цибуля?

Артист.

Вона не вимагає ніяких інших нервів,
ані ніякого смаку.

Професор.

То ніби виходить...?

Критик.

Ніби нічого не виходить. Я мушу стати
в обороні цибулі. Люблю штуку, але й цибулі не
дам плювати в лице.

Заграничний політик.

Ну, певно, се-ж часть твоєї національної
традиції, твої сьвятощі.

Репортер.

Пане Парафіянський, áργος! Сьогодні я
бачив вашого мецената, того графіка, що ви мали
з ним битву під Грунвальдом.

Артист.

Ого! А він чого тут шукає?

Репортер.

Стоїть в Європейському готелю, нр. 10, при-
їхав з якоюсь молодю дамою.

Заграничний політик.

(стає перед професором беручи ся за боки).

Пане професор! І по що вам того на старі
літа? Я би бувши вислуженим і пенсіонованим —

Професор (з гідністю).

Перепрашаю, невислуженим і суспендованим.

Заграничний політик.

Невислуженим і суспендованим п. к. профе-
сором будівництва і копаня фундаментів не ком-

промітував ся би таким круглим нерозумінем штуки. Адже у вас на техніці повинен дехто розуміти, що се не все одно збудувати льокомотиву до порушування корабля, і збудувати апарат, котрий може перервати ток електричний — ну, візьмім, мільярд разів на секунду. Правда, для такого майстра, що буде льокомотиву, збудоване такого апарату може видавати ся чимось таким, що вимагає зовсім иньших нервів, ніж наші...

К р и т и к.

Браво, поет від заграничної політики! Бий техніка технічними аргументами!

Професор.

О, даруйте! Я й не знав, що пан Вінкентій поет.

К р и т и к.

Не друкований доси, але тим не менше вітхнений.

Заграничний політик.

І не швидко буде друкований.

Професор.

А то чому?

Заграничний політик.

З двох важних причин. Одна та: де є та публіка, що могла-б читати і відчутти мої поезії?

Професор.

Ну, коли напишете зрозуміло, то — —

Заграничний політик.

Зрозуміло! От іще шабљон! Фраза! Ви професори пишть свої книги і трактати зрозуміло, бо ви промовляєте до розуму. Ми поети вилива-

емо своє чуते і промовляємо до чутия, то по що нам зрозумілість? Або коли хочете, нам треба зовсім иньшої зрозумілости, ніж ваша. Ваша льогіка, ваше аргументованє, ваші дефініції і дістінкції, се наша смерть. А найгірше те, що ви своєю науковою паплявиною попусвали нам мову, зробили її нездатною для поезії. Наші слова зробилися символами ідей, абетрактів, льогічних процесів, а не чутия. І се друга причина моєї абстіненції. Хіба-ж я можу вилити чуते могого серця тою самою мовою, котрою висловляеться »два рази два є чотири« ?

Професор.

А я думав, що чим серце повне, те устами ллеть ся. Думав, що ясні ідеї і сильні чутия можна висловити ясними словами. Думав, що ясність і простота —

Артист.

Całuję rączki, uniżony sługa wielmożnego pana dobrodzieja. Питанє про ясність доторкає по троха могого фаху і тут я сьмію сказати, що шановний професор є на деревляній дорозі, чи як каже Німець, auf dem Holzwege. Ясність є один із окликів пережитого натуралізму, котрий голосив: природа! природа! не розуміючи в своїй наївности, що в практиці він на кождім кроці завдавав брехню своїм окликам. Як то се так гарно висловив Ніцше, пане критику?

Критик (деклямує).

„Treu die Natur und ganz!“ — Wie fängt er's an?
Wann wäre je Natur im Bilde abgethan?
Unendlich ist das kleinste Stück der Welt!

Er malt zuletzt daran, was ihm gefällt.
Und was gefällt ihm? Was er malen kann!*)

А р т и с т.

От то, то, то! Вся брехня, вся внутрішня суперечність так званого об'єктивізму. Я, мовляв, не видумую, а малюю дійсність, те що є і таке як є! А на правду що виходить? Він малює те, що йому подобаєть ся; малює так, як уміє, як його навчили, після старих шаблонів. Ось вам і правда, і природа, і ясність! І що таке ясність? Природа не знає ясности. Вона знає кольори і відтінки і більш нічого. Ясність, се пуста фраза зарівно в поезії, як і в малярстві. Ми хочемо бути щирі і говоримо: малюємо так, як бачимо. Не віримо в ніяку об'єктивну правду, в ніяку безоглядну ясність, а віримо тільки в свої нерви і в свою фантазію.

Професор.

І в зелені коні, червоні дерева, помаранчову траву і кармінове небо.

А р т и с т.

У все те! Передаємо вам наші суб'єктивні вражіння тай годі. Більше не годен вам дати ніхто; всі інші тільки обріхують вас.

Професор.

Ціла штука — брехня, але, як мовив Пушкін, »насъ возвышающий обманъ«.

Заграничний політик.

Нашій штуці байдуже до того, чи ви через неї підвисшитеся, чи ні. Вона — сама собі мета.

*) Див. Gedichte und Sprüche von Friedrich Nietzs. he. Leipzig, 1898, стор. 73.

Вона — скарбниця найвисшого, найсубтельнішого чуття, а не підойма до підношеня в гору стофунтових кльоців. Треба вже високо стояти, щоб могли розкошувати ся нею.

Професор.

Значить, штука для вибранців?

Заграничний політик.

Так.

Професор.

А народ! А маси, що також живуть і працюють і мають право до розкошів життя?

Заграничний політик.

Хиба я бороню їм жити і розкошувати ся? Тільки-ж коли вони не можуть розкошувати ся моею поезією, то значить, жити спільним зі мною житем чуття, то що я винен тому? Чи задля того маю зректи ся своєї висшости, що вони не доросли до мене?

Професор.

Дійсна висшість почуває себе до обовязків супроти низших. *Noblesse oblige.*

Заграничний політик.

Як кого. Мене ні. Які обовязки сповняє цвіт? Цвите і пахне. Мотилем не орють, цвітами в печі не топлять. Найвисша функція, найвисший обовязок артиста — бути артистом, творцем, бути самим собою. Він незалежний ні від кого, він пан, він цар, він бог. Не він обовязаний до вдячності суспільности, що видала і виплекала його, а суспільність повинна чтити, шанувати, обожати його за те одно, що він є. Бо він цвіт її, сума її найкращих сил, найпіднеслі-

на лоні природи.

7

шого чуття, екстракт її мізку і квінтессенція її нервів.

Професор.

І за ту честь, за той пошановок, за те обожане чим він має платити суспільности?

Заграничний політик.

Odi profanum vulgus et arceo!

Професор.

Он як!

Заграничний політик.

А так! Його діяльність — се золотий міст від теперішности до будущини. Він пророк. Він видить те, що буде, жиє з тими, що прийдуть колись, розмовляє з ненародженими.

Професор.

Пророків колись побивали камінем.

Критик.

А нині вони пишуть заграничну політику в демократичних або й антідемократичних газетах. Поступ!

Внутрішній політик (входить з провіянтами).

Панове! К чорту естетика! Горілка і закуска на столі!

III.

Снідане кінчило ся, коли адміністративний слуга підійшов до заграничного політика і з звичним своїм не то стурбованим, не то заляканим

видом, ніби шепчучи, але так, що чули всі, промовив :

— Прошу пана, там до пана якась баба допитує ся.

— Баба? Що за баба? — скрикнув заграничний політик, котрому горілка і розмова про штуку для штуки троха підступила до голови.

— Та... тота... що... пан знають.

Заграничний політик зрозумів.

— А чорти-б її мучили! — крикнув він гнівно і вибіг до адміністраційного льокалю.

Лице слуги прояснило ся по його відході. Всьміхаючи ся добродушно він нахилив ся до критика і шепнув, але знов так, що всі чули :

— Привела йому наступника престола.

Всі зареготали ся.

Всім була звісна трагікомічна історія, яв заграничний політик прийшов до наступника престола. Одинацять літ тому з ним склала ся досить незвичайна притичина. Забавивши ся до пізної ночі в веселій компанії, він вернув десь о дванадцятій домів. Він займав тоді кавалерську квартиру, зложену з одного покою і одного передпокою на другім поверсі в офіціні одної великої камениці. Побіч нього жили якісь панство і мали служницю, сільську дівчину, зовсім непоказну з лица. Отже доля хотіла, що тої самої ночі панство були на балю, а дівчина почувала сама в кухні. Заграничний політик вернувши о півночі до дому, нанотемки а при тім у нетверезім стані помилив ся дверми і замісь до свого передпокою заблудив до кухні. Чи так воно було справді, чи тільки він так а posteriori уложив собі сю історію — на знати, досить, що пізнійше, коли проявили ся наслідки його нічного блукання,

він ніяк не міг докладно пригадати собі нічого-сїнько про ту ніч і про свою пригоду і про саму дівчину. Але історія обернула ся неприємним кінцем для нього; дівчина вдала ся до поліції і бідний кавалер мусїв платити алїментацію. Дитину віддано на село до мамки, мати виздоровівши пішла знов у службу і отсе перед двома роками вмерла в шпиталю, а заграничний політик кожного першого почував гризоту сумління і посилав п'ятку бабі Василисі.

Від року його положене зробило ся ще неприємнїйше. Він оженив ся. Правда, він був на стілько чесний, що упередив свою жінку про обовязок, який тяжить на нїм, і вона не противила ся висиланю п'ятки. Але у нього була вже своя дитина, пенсія була досить скупа, посторонні заробітки ще скупїйші, то не диво, що той хлопчик там на селі стояв перед його душею як мара. Що з ним буде? Куди подїти його? Він не бачив його ніколи, не цікавив ся ним, ненавидїв його як гріх, як помилку, як пригадку чогось страшного, глупого і безглуздого. Але щось треба-ж було зробити з ним. Прийде час, коли баба не захоче держати його далї — і що тоді? Заграничний політик злостив ся, кляв, але не міг додумати ся нї до чого. А коли минув перший, він з легкомисністю властивою поетам забував про свою турботу, спихав її з денного порядку якоюсь фразою в родї: »Якось то буде«, »Ще сьвіт не валить ся«, »Дам його до ремесла« — і був спокійний, марив та диспутовав про штуку, деклямував Верлена і писав заграничну політику.

IV.

Заграничний політик живо підійшов до баби Василихи. Його лице було червоне, очи палали гнівом.

— Щож се таке, бабо? Ще першого нема!
Чого ви напастуете мене?

— Та я, паночку, нічого. Я тільки от —

І вона обернула ся і взявши за плече Петруся, що тулив ся до неї, посунула його троха наперед себе.

— Щож се таке?

— Та се ваш хлопчик, Петрусь. Петрусю, дитино моя, се твій тато. Поцілуй його в руку.

— Ні, ні, не треба! — сквалпно крикнув заграничний політик піднявши в гору руку, мов бояв ся дотику якої обридливої жаби. Він зирнув на хлопчика, але зараз же відвернув ся і говорив до баби:

— Ну, чого-ж ви хочете від мене?

— Та я, паночку, привела вам його. Не можу довше держати його.

— Не можете? Чому?

— Корова здохла. Ні з чого жити. Мушу кидати хату і йти в комірне.

— Але я також не можу взяти його до себе! Подержіть його ще пару неділь, нехай вишукаю для нього тут яке місце.

— Пан давно вже обіцяли вишукати. А я мушу заздалегідь шукати собі теплого кутика на зиму.

— Обіцяв, обіцяв. І шукав. Але не було доси. І мені обіцяно... за тиждень, за два тижні...

Заграничний політик брехав. Він нічого не шукав, ніхто нічого не обіцював йому. Але баба вхопила ся за се слово.

— Так знаєте що, паночку. Я лишу його тут у Львові. Тут у мене є кума, на Новім сьвіті. Вона ходить до служби, а хлопець може пробути у неї тиждень або й два, поки ви знайдете що

для нього. Погляньте лишень, який гарний. Зовсім до вас подібний. Я певно не робила йому кривди, держала його як свого рідного. Школу скінчив у селі. А покажи-но, Петрусю, своє свідощтво!

— Не треба, не треба! — скрикнув заграничний політик і винавши срібного ґульдена дав його Петрусеви, а бабі дав пятку.

— Натє, заплатіть своїй кумі, нехай подержить його зо два тижні. Я вже тут постараюся примістити його. Ну, йдіть, ідіть, бо я не маю часу.

Баба взяла Петруси за руку і пішла, а заграничний політик вернув до свого товариства. Там зустріли його голосними криками:

— А, ґратуємо! ґратуємо! Гарний хлопчик, гарний! Ну, що? Чутлива була стріча батька з сином?

Заграничний політик увесь запаленів. Сцена, котру він тільки що перебув онтам, у тім бруднім адміністраційнім передпокою, пекла огнем його чутливу душу. Він чув, що се була одна нова сторінка ганьби, сорому і погорди для себе самого в його душі і що він до смерти не забуде її, не забуде особливо того несмілого, заляканого, благального, покірного і докірливого погляду великих, ясних, дитинячих оченят Петруся, свого сина. Доси нераз він сумнівав ся, чи то був справді його син і нераз був майже певний, що служниця причепила ся до нього з доброго дива. Але тепер, побачивши Петруся, він не міг сумнівати ся. Се його син! А про те він поводив ся з ним як з ворогом, як з чимось чужим, ненависним. Не міг инакше! Може з часом привикне, полюбить його, але тепер він не міг, не міг дивити ся на нього, не

міг знести дотику його дитинячої руки, його рожевих уст! Не міг тай годі!

— Гм... Гарний хлопець, правда? Еге! Ну, щож... Дам його десь до ремесла... Нехай працює... А вже-ж, а вже-ж! Не відречусь його!

Заграничний політик говорив ніби до товариства, а властиво для заспокоєня свого сумління. А що сумліне не заспокоювалось, то він виняв ще корону, післав по більше горілки і закусок. При веселій розмові снідане протягло ся до першої години. Заграничний політик ішов до дому з горячою головою, ступав твердо, давно вже забув про Петруся, а в душі його брели тільки мельодійні вірші Верленові:

O poète, faux pauvre et faux riche, homme vrai,
Jusqu'en l' extérieur riche et pauvre, pas vrai,
(Dés lors, comment veux-tu, qu'on soit sûr de
[ton coeur?])

Tour à tour souple drôle et monsieur somptueux,
Du vert clair plein d' „espère“ au noir com-
[ponctueux,

Ton habit a toujours quelque détail blaguer.*)

V.

Минув тиждень, минули два тижні. Заграничний політик не знайшов місця для свого Петруся, а Петрусь не зголошував ся. Минув

*) О поете, фальшивий бідахо і фальшивий богачу, правдивий чоловіче, аж до зверхнього вигляду не на правду багатий і не на правду бідний (і супроти того якже ти хочеш, щоб хтось був певний твого серця?); раз ти щедрий до сьмішности і пишний пан, перескакуєш від ясної зелені повної надії до скорботної п'янки; твоя поведінка все має в собі дещо з блягера. (P. Verlaine, *Choix de poésies*, Paris 1898, стор. 399).

перший — не приходила вже ані баба Василиха, ані жадна иньша баба, ані Петрусь. Заграничний політик був троха неспокійний того дня; він так привик, що хтось мусить прийти »доїти його«, що не міг всидіти на місці і аж здивувався, коли не приходив ніхто. Другого дня він уже не думав ані про Василиху, ані про Петруся.

Минув ще тиждень — було тихо.

Аж ось одного дня до редакції навідала ся стара, згорблена бабуся і забажала бачити ся з паном Вінкентієм.

— Що за дідько? — скрикнув сей, коли слуга повідомив його про візиту.

Бабуся низько кланяючи ся і кашляючи прошамкала:

— Перепрашаю, я від Юзефової — знають пан?

— Що за Юзефова? Не знаю жадної Юзефової.

— На Новім сьвітї. Вона до послуги ходить, знають пан?

— Ні, не знаю.

— Та вона сама хотїла йти до пана, але захорувала, лежить... горячку має, небога...

— Але щож мене то обходить? Я її не знаю.

— Та вона каже мені: »Підїть, Антоньова, до того пана, що при газетї — не знаю, чи я добре трафила — вона дала менї отсю карточку, прошу, нехай пан поглянуть:

На карточцї паперу, взятого мабуть із тютюнової обертки, написано було безграмотно жіночою рукою титул часописї і його хресне ім'я.

— Ну, добре. Але скажіть же, що се за Юзефова і чого хоче від мене?

— Та вона не хоче нічого, тільки просила запитати пана, чи був у пана той хлопчик, що його лишила у неї якась баба з села?

— А!

Заграничний політик догадав ся.

— Той хлопчик? Ні, не був у мене. Або що з ним?

— Та не знати, прошу пана. Каже Юзефова, що вже тиждень тому, саме як вона захорувала, він забрав ся і пішов кудись і доси не вернув. Вона думала, що він пішов до пана — каже, що пан мали знайти йому якийсь місце.

— А так, так. Ну, і щож з ним?

— Та не знати. Як пішов перед тижнем, так і доси не вертав. То Юзефова неспокійна. Хотіла сама піти до пана, але не може встати. То мене просила: »Ідіть — каже — Антоньова, і запитайте того пана« — —

— Ні, він не був у мене. Може вернув назад у село до... своєї баби?

Те »своєї« якось не хотіло вийти заграничному політикуви з горла.

— Та може. Але Юзефова боїть ся, щоб його не потягли з собою ті хлопчиська...

— Які хлопчиська?

— Та лямпарти, прошу пана. Там їх у нас на Новім світі цілі купи волочать ся. Батяри такі. В день волочать ся по полю, ніби бавлять ся, а в ночі крадуть з огородів, із садів, із подвіря, що тільки захоплять. Один є між ними старший, якийсь термінатор прогнаний від майстра, і той комендує ними. Але мусять мати й иньших спільників, що переховують крадене, бо ось сими днями вже почали бушувати по стріхах, красти білизну...

— Але що мене те все обходить, жінко добра? — скрикнув заграничний політик, котрий від репортера в редакції чув уже нераз про ту злодійську шайку, що розтривожила весь Новий сьвіт.

— Та тото клопіт, прошу пана, що той хлопчик від Юзефовой, заким пішов від неї, дуже був стоваришував ся з тими лямпартами. То Юзефова боїть ся, чи він не пристав до їх спілки.

— Але то не може бути! — скрикнув заграничний політик з таким сьвятим переконанем, немов знав се на певно. — Він певно затужив за селом і втік на село.

— Га, може бути. Коли пан так кажуть... А може би пан написали там до кого в селі і запитали, чи є він там?

— Добре, добре. Дякую вам за відомість. Зараз инні напишу.

І бабуся кахикаючи пішла.

— Треба написати до тамошнього попа, — подумав заграничний політик. Але що в тій хвилі прийшла иньша робота для газети, потім треба було йти до дому на обід, потім до друкарні по коректи, потім до каварні на нові газети, потім десь до касина, то день минув і листа він не написав. А другого дня й зовсім забув про Антонову, про Юзефову, про Новий сьвіт і про писане листа.

VI.

Третьої ночі його обікрали.

Злодії підстерегли, коли він з жінкою був на якійсь гостині, а служниця з малою дитиною спала в остатнім покою. Видушивши одну шибу

в вікні, вони всадили нею одного із своїх, очевидно дуже малого хлопця, до середини, сей відчинив їм вікно і вони чисто забрали гардеробу пана і пані, дещо з постелі і з иньших річий, що могли винести без стуку. Все те, як показували сліди, занесли в сад, що притикав до подвіря, а відси пересадивши частями через паркан, вибрали ся в темну, безлюдну вуличку. Тут дальші сліди пропадали.

Але знайшов ся ще один важний слід. Під канапою, що стояла при стіні просто того вікна, через яке вліз перший злодій, заграничний політик знайшов загублений котримось із злодіїв зімнятий і в десятеро зложений піваркуш сірого паперу зі стемпцем на 15 кр. Се було сьвідоцтво підписане учителькою села Н., бобрецького повіту, а в нім потверджувано, що Петро Гарасимів, 11 літ, скінчив одноклясову школу в тім селі і проявив дуже добру пам'ять, цікавість, пильність і взірцеву обичайність.

Заграничний політик передав се сьвідоцтво комісареві, що провадив досліди в справі сеї і кількох иньших, зовсім подібних крадіжий.

— Се правдоподібно той самий пташок, котрого вони всаджують першого крізь видушену шибу до покоїв і котрий їм відчиняє вікна, — мовив комісар. — Є надія, що швидко будемо мати їх усіх у руках.

Заграничний політик хотів ще щось сказати комісареві. В його серці щось пекло, щось бунтувало ся і кричало, але уста мовчали.

За кілька день йому дали знати, що всюшайку арештовано, віднайдено її криівку і забрано покрадені річи. Він пішов до поліції з жінкою. Там уже була ціла купа пошкодованих. З прокляттями на устах вони перебирали крадені

рiчи, вiднаходячи свою власнiсть. Жiнка заграничного полiтика також подала ся до сеї роботи, над котрою провадив догляд один полiцейний ревiзор. Заграничний полiтик тимчасом розмовляв з комiсарем.

— А що, є й той малий? — питав вiн.

— Є. О, то небезпечний пташок! Подумайте: виняв нiж i почав боронити ся, коли його хотiли арештувати. А само таке мале — хрущ!

Серце заграничного полiтика трiпало ся сильно, але уста були зацiпленi.

— Щож буде з ним? Не вже дасте його до кримiналу?

— Є, нi! Вiдставимо його цюпасом на мiсце вродження i накажемо громадськiй власти, щоб дала його десь на службу i мала над ним пильний догляд.

Заграничному полiтикови зробило ся лекше на серцi.

— Зараз там напишу, щоб подержали його пару день i дали менi знати. Сам поiду, вiзьму його i примiщу десь, — подумав вiн i заспокоїв ся на тiй думцi.

Розумiє ся, що листа того дня не написав, другого дня подумав, що ще пора, а третього дня забув.

VII.

Петруся продержали три тижнi в полiцейнiм арештi. Тут вiн пройшов другий курс злодiйської науки. Потiм його вiдвели пiд конвоєм у рiдне село, а з ним разом пiшло й письмо, де розповiдано його iсторiю i наказано громадi, щоб держала його у себе пiд дозором.

— От тобі й на! — мовив вїйт. — Маємо свїжого злодія. Пішла дитина з села, як дитина, а тепер нам привозять злодія. І що нам з ним робити?

Нїхто не вмів відповісти на се питане.

— Візьміть його, куме Йване, — мовив вїйт до одного радного.

— Я? А на що мені його? Роботи з нього нїякої, а ще до того — злодій! У Львові практикований! Ні, дякую красенько!

Те саме говорили й усі иньші.

— Га, нема що робити, — мовив вїйт, — візьму його сам. Нехай живе у мене. А від баби Василихи вивідаємо ся про його батька, може він схоче відібрати собі його.

Радні аж тепер поміркували, що се по троха пахне інтересом, але вже було за пізно. Стало на тім, що Петрусь має лишити ся у вїйта.

— Слухай, хлопче, — мовив до нього вїйт, коли його привели до громадської канцелярії. — Громадз присудила, щоб ти жив у мене. Я тобі кривди не зроблю, але справуй ся добре! Памятай собі, у нас не Львів. У нас по чужих хатах і коморах лазити не можна, бо як зловлять, буде біда. Справуй ся добре, кажу тобі. Будеш добрий, буде й тобі добре, а нї, то краще було тобі й не родити ся на свїт.

Коли-б Петрусь ще перед трьома місяцями був почув таку мову звернену до себе, був би розплакав ся зо стиду. Тепер він вислухав тих слів спокійно, мов закаменїлий, не тільки без сліз, але й без тїни румянців на лицї.

Тиждень він пробув у вїйта. Його держали остро, давали мало їсти, гнали до роботи, поштуркували і лаяли. Одної ночі він забрав своє манате, прихопив дещо й з вїйтівського і щез.

Другого дня прийшов зі Львова лист без підпису до начальника громади, щоб був ласкав донести на адрес »Певний«, poste restante у Львові, чи є там у селі такий а такий Петрусь Гарасимів і у кого він пробуває. Прочитавши сей лист війт плюнув гнівно, подер його на шматочки і пробуркотів :

— Щезай маро! Зломи голову без мене!

VIII.

Минули два місяці. Після незвичайно довгої і лагідної осені настала відразу люта, морозна зима. Снігу насипало в коліно, вітри ревли понад Львовом, що ночі приходили відомости про великі заметі, про спізнєння залізниць, про перерви на телеграфічних дротах. А разом з тими відомостями почали приходити й інші — про голод у краю, про брак паші, про дорожнечу, про мордоване коний по селах. Зима відразу страшним упирем налягла на галицьку землю.

Було се в половині січня. Минула дванадцята година. В редакції відомої нам демократичної газети пусто вже, співробітники порозходилися всі крім заграничного політика, що забалакавши ся перед тим кінчить ще якусь статю.

А в тім дзїнь-дзїнь-дзїнь! — задзвонив телефон. Заграничний політик покинув писане, підійшов до телефону, віддзвонив і притулив слухавки до вух.

— Хто там? — запитав він.

— Чи редакція?

— Так.

-- Я поліцейний квісар. Прошу прислати репортера. Власне їде комісія на Янівське.

— В якій справі?

— В справі тої пожежі, про яку донесено нині рано.

— Дякую! Зараз буду там!

В ранішнім номері газети було коротко донесено про загадкову пожежу: горів військовий магазин з сіном. Огнева сторожа від самої півночі працювала над зльокалізованем і погашенем огню. Треба було конче користати з нагоди і їхати на місце. Репортера не було, а в редакції було таке правило, що в разі потреби кожний співробітник має обняти репортерську службу, щоб обслужити газету. Прийшлося заграничному політикови їхати на сю пожежу. Він узяв дорожку і погнав на Янівське.

Магазин — се була величезна шопа: дах опертий на стовпах, без стін, тільки між стовпами повбивано поперечні дрючки в відступах одного метра. Сей магазин стояв на кінці просторої площі, за стайнями, досить далеко від вулиці і відгороджений від неї високим парканом. Тепер ще сіна з нього не брали, він був повний аж під самий дах, містив кілька тисяч сотнарів сіна. Яким способом міг він запалити ся?

Хоча огонь побачено ще не довго по півночі, то й доси не вдало ся вгасити його цілком; діставши ся в глук збитої маси сіна, він бушував у нутрі величезного стога і наповняв усю площу, ба, всю околицю густим, душним димом. Від ночі вояки в спілці з огневою сторожею лили воду на сю купу сіна і хоча зверху вона стояла зовсім чорна і мокра, то клуби диму, що раз-у-раз ішли з нутра, свідчили, що там огонь не згас. І справді досить було в однім місці якийсь час перестати

лити воду, а з того місця від внутрішнього огню підіймалися клуби пари, а за кілька хвиль показувалися огняні язики. У гасильщиків опадали руки з утоми.

— Ше від коли жию, не бачив такого! — мовив начальник огневої сторожі до комісара, що власне в товаристві кількох газетярів прибув на місце нещастя. — Сотки стирт гасив я вже, але все огонь держався верха, а тут він у середині. Выглядає зовсім так, як коли би з середини почало горіти.

— Може сіно було гниле і загоріло ся? — мовив комісар.

— Ні, пане комісарю, — мовив фірер, що мав коменду над компанією вояків, призначених до помочи огневій сторожі. — Сіно було сухе. Під моїм оком його складали, я на тім розумію ся.

— Чи не ночував тут хто?

— Ночував? Хто-ж би тут міг ночувати?

— А ви обдивляли добре що дня маґазин?

— Ні. Не було по що.

— А, так!

І не розмовляючи довше комісар закурив цигаро і пішов попід паркан, що відділював касарню від вулиці. Під парканом росли корчі, будяки, всякі хащі. Все те тепер було сухе, поломане, завіяне снігом, а про те легко було в тім снігу відкрити вузеньку стежку, злегка завіяну вчорашньою метелицею; вона вела від горючого маґазину в один кут до паркана. Приклякши на землю і розгорнувши недавно наметений сніг, бадиле і сіно напхане на купу, комісар відкрив під парканом досить простору яму, котрою можна було з вулиці пролізти сюди.

Газетярі пильно слідили за кожним його рухом і повитали його відкрите голосними окриками.

— От бачите! Секрет потроха вияснює ся! Тут бували гості.

— Певно крали сїно.

— Або крали — се би ще байка, — мовив комісар і його лице нараз поблідло, немов від якоїсь страшної думки. — Або — —

Він не договорив і поспішив до горючого магазину.

— Або що? Або що? — допитували ся цікаві газетярі.

Комісар не відповів на се питане. Обходячи довкола горючої купи сїна, так близько, як тільки позволяв на се докучливий дим, він пильно вдихав ся в чорну, обгорілу стїну збитого сїна. Нараз в однім місці він зупинив ся і махаючи руками покликав до себе газетярів.

— Що там? Що там?

Комісар не говорив нічого. В тім місці, де він стояв, було горячо, бухав дим змішаний з парю, запирало дух і гризло очи. Але комісар не вступав ся з місця, стояв мов причарований чимось страшним.

Газетярі звільна наближали ся.

— Що там? Що там?

Комісар не мовлячи нічого показав пальцем у одно місце.

З обгорілого сїна вистирчувало щось чорне, грубе; придивляючи ся ближше можна було розпізнати пару ніг у чоботях.

В тій хвилі повіяло димом і жарю просто в очи властивим сьвідкам, немов пожежа була гнівна на тих людей, що підгляділи її секрет. Усі повідскакували.

— Тут хтось є! Тут хтось є! Тут чоловік у сні! — закричали газетярі.

— Дай Боже, аби тільки один, — ляконічно мовив комісар.

— Як то? Як то? Мало би бути більше?

— Боюсь, що так. Бачите панове, підкопано паркан, стежка втоптана, — значить, не один ходив сюди ночувати. Скажу вам по секрету: ми давно вже шукаємо за одним таким масовим нічлігом. Маємо певні сліди, що ціла купа підозрених волоцюг ховаєть ся кудись на ніч, западаєть ся мов під землю. В день раз сього, раз того видно в місті; робили ми облави, перешукували всі лазні, всі цегольні, всі відомі нам злодійські скритки. Богато пташків наловили, богато страшенної нужди і горя набачились, але деяких найнебезпечніших фацетів ніяк не могли запопасти. Бою ся, щоб отсе не було їх гніздо.

— Ну, в таким разі ви могли-б дякувати Богу, — жартував заграничний політик. — Хто тут ночував сеї ночі, той уже безпечний на віки.

Відомість про те, що в скарбовім сні видно трупа якогось чоловіка, донесла ся зараз до коменди. За хвилию прибув на місце капітан у товаристві кількох офіцерів, далі генерал зі своєю свитою, прикомендеровано ще кілька компаній війська і велено їм систематично розбирати шопу і поміщене в ній сіно. Робота була небезпечна; де тільки рушити, всюди бухав огонь. Аж по кількох годинах важкої праці опановано його, розкидавши весь верх і приваливши сіно грубою верствою снігу. Тоді почали ся пошукування з боків. При ненастанній праці сикавок, звернених у те місце, де видно було ноги, розгорнено там вигоріле сіно і витягнуто ті ноги. На диво всіх се були самі ноги — решта тіла згоріла на

вуголь. Але йдучи далі за тим слідом стражники побачили сліди глибокої нори викопаної в сїні, і в тій норі зараз на вході знайшли другого трупа. Він лежав головою до отвору, а цілим тілом вкопаний у сїно; тепер голови не було, згоріла на попіл, а решту тіла витягли з сїна. А за сям одним знайшли другого, третього, десятого... Цілий ряд страшно обгорілих, повикривлюваних голяків. Тут були зівялі старці і молоді парубки, дівчата і старші жінки, ціла збиранина великоміської нужди, зоупутя і розпуки. Комісар ходив мов отроений. Адже се відкрите — страшений удар для репутації столиці краю і її влади безпеченства!

Вже вечеріло. Вояки з правдивою лютістю, з якимось шаленим гнівом кидали ся на ту страшенну стирту, що пожерла стілько живих людей, розривали її, тлумили снігом і водою решти огню, шукали нових, ще нових жертв. І знаходили. Показало ся, що в стирті була не одна така нора; швидко відкрили другу і третю, а в кожій повно трунів. До вечера відкопано їх сорок, не числячи кількох рук, ніг та голов, що лишили ся окремо і не можна було знати, до якого трупа приложити їх. Усі сьвідки сих страшних розкопок стояли мов осуджені, немов усіх їх прилапано на співучасті в страшнім, нелюдським злочині. Комісар спокійний, хоч блідий, пояснював свою думку.

— Видно котрийсь із них вернув пізно в ночі п'яний з цигаром у зубах і так заснув. Огонь заскочив їх усіх у сні.

В тій хвилі вояки, що розпорпували решту сїна, підняли крик. Віднайшли ще одного трупа. Сього, видно, огонь заскочив не сонного, бо він мав на стілько притомности, що руками і головою вкопав ся в низ, до поденя, на котрім на-

кладене було сіно. Знав, що полум'я і дим ідуть у гору і думав виратувати ся низом, пролазячи попід подене. Але помилив ся, бідний. Верства сіна була занадто груба, він не встиг докопати ся до самого поденя. Дим задусив його, ноги обгоріли зовсім, але верхня часть тіла була ціла, бо сіно, в котрім вона була закопана, лишило ся неспалене. Витягли його з нори. Се був малий хлопчик, несповна дванацяти літ. Його положили лицем на сніг. При сьвітлі заходового сонця комісар зараз пізнав його і обертаючи ся до пана Вінкентія промовив :

— А, пане, се ваш знайомий !

Пан Вінкентій зирнув і затряс ся мов у лихорадці.

— Мій... зна...йомий ?

— А так, той що помагав обікрасти вас. Знаєте, що ви знайшли його сьвідоцтво ! Петро... Петро... як то він ?... Гарасимів.

Пан Вінкентій стояв як труп і не сьмів глянути на те маленьке, до половини перепалене тіло, на те пожовкле і посиніле личко, на ті широко розняті уста, на ті витріщені в передсмертній трівозі очи, на ті рученята, що судорожно заціплені держали ще по жмутові сіна.

— Відки він міг тут узяти ся ? — ледво переводячи дух промовив пан Вінкентій бачучи, що всіх очи обернені на нього і всі немов ждуть від нього якогось слова.

— О, ми давно слідимо за ним, але все висковзував ся нам із рук, як вюн. Знаєте, його відвели були в село. Побув там тиждень у в'їта і втік. Блукав десь зо дві неділі, потім появив ся у Львові. Кілька разів уже ось-ось мали його арештувати і все висмикував ся з наших рук. Раз знайшли його були на нічлігу в жидівській

лазні під лавкою; поліціант не знав його і пугтив, коли зачав просити ся. Потім почував по цегольнях. Раз мало не замерз у якийсь загаті, а отсе тепер тут знайшов своє місце.

IX.

Того вечера пан Вінкентій не вернув до дому на вечерю. Стривожена жінка вже зібрала ся, щоб іти шукати його, коли два якісь панове заїхали дорожкою перед дім і майже на руках вивнесли його до гори сходами і ввели до покою.

— Боже! Що се? — скрикнула перелякана пані.

— Нічого, нічого, — шептом мовили панове. — Видно, пан добродій трошечка... тее. Прошу, де його положити?

І не чекаючи відповіді вони положили його на софі, поклонили ся пані і пішли.

А пан Вінкентій, п'яний як ніч, плакав і балакав-балакав.

— Гунцвот не мое імя, коли не дам його до ремесла! Буде чоловіком. Ніжки згоріли, животик згорів, кишечки видно... Лист, лист, зараз треба лист написати!

Les sanglots longs
Des violons
D' automne
Blessent mon coeur
D' une langueur
Monotone.

Жінка стояла над ним з заломаними руками і не знала, чи плакати, чи гнівати ся, чи посилати по лікаря.



Мавка.

(Літня казочка).

— Гандзю, Гандзуню! Сиди мені, небого, дома, бо я піду в ліс на губи!

— Візьміть і мене з собою, мамуню! — говорить маленька Гандзя, ломаючи свої тонкі губки. — Мені самій страшно в хаті!

— А йди, йди! Така вже стара дівка вросла тай їй у ясний день у хаті страшно! Далі відавати ся захочеш, а в хаті боїш ся! Стидай ся! І як я візьму тебе в ліс? Хиба ти зможеш ходити по лісі?

— Ой зможу, мамуню, зможу, не бійте ся, — говорить Гандзя повеселівши.

— Ні, ні, сиди в хаті! Там у лісі Мавки, знаеш, такі з зеленими косами! Вони беруть маленьких дівчаток.

— О, я не бою ся Мавок, мамуню! Мені ген-то снила ся одна, — так любо ми бавили ся! А вона все сьміє ся до мене — правда, мамуню, що Мавки сьміють ся, так голосно-голосно! — тай каже: »Гандзю, куку!« А я кажу: »Я тут!« А вона каже: »Ходи, Гандзю, в ліс, там у нас такі гойданки, у-у! у-у!« Візьміть мене, мамунцю, візь-

міть, може її побачимо! Я так би хотіла погой дати ся з нею!...

— А йди, йди, дурна! Щось також говориш! От сиди в хаті, я позамикаю двері, ніхто сюди не вийде. А я незабаром верну ся, не бій ся!

Мати пішла. Зелізнйй ключ закалатав у дверех, засуваючи деревляний засув. Гандзя заплакала в хаті.

— Чому мене мама не хотіли взяти? Я була би побачила Мавку! А там у лісі так гарно, тихо, зелено, тепло!.. Ой тоті мама! Тут мене замикати в хаті... а самі в ліс пішли, самі!..

Хата, де жила Гандзина мати, стояла на самім краю села. З трьох боків, не дуже далеко, виднів ся густий, темний, вічно тужливий ліс, що шумів раз-у-раз та заводив якусь таємничу пісню. Дивна то пісня. Деякі її ноти щемлять у серці, мов недавня, ледво загоєна рана; иньші рвуть думку з собою в темну, пахучу безвість, у якийсь безмежний, непрозорий простір; иньші порушують самі глибокі і сильні струни в людській душі, будять бажане життя, енергію, охоту до невтомної праці, сьвітлої будучини, а ще иньші навівають якусь недовідому, глибоку тугу на серце. Гандзя родила ся серед гомону тої пісні; відколи могла чути тони, чула найбільше її, і не диво, що та пісня причарувала всю її нервову істоту. В сні і на яві вона прислухала ся до неї зимовими вечерами, коли ревла буря і ліс стогнав як тисячі ранених на побоевищу; любила ся нею весною, коли теплий вітер ледво-ледво ворухив вохкі ще, безлисті, а вже сьвіжими соками наліті гиялячки; прислухала ся до неї в пекуче літне полудне, коли вітру не було чутно, а про те по верхівях лісових дерев ходив

якийсь таємний шепіт, мов зітхане або мов сонне лепотане задріманнх на соняшній спеці дерев. Дитяча уява день і ніч блукала по лісі, знаходила в його голосах відгомін своїх дрібнесеньких а про те для неї таких важних і величнїх радощів і терпїнь. От тим то й не диво, що та лісова пісня причарувала всю нервову, тендітну Гандзину істоту. Ві сні й на яві у неї все одно та одно на думці — ліс і його тайники. Що найкращого, найприємнїшого затимила вона в своїм коротенькїм житю (їй було всього пять лїт), усе те нерозлучно вязало ся з лісом. Ах, як радо, з якою розкішю слухала вона казок про лісових духів, про ті на пів страшні, на пів принадні твори людової фантазії, а особливо про Мавок з білим як березова кора личком і з довгими, зеленими косами! Вона не могла зрозуміти, чого инші діти боять ся Мавок. Аджеж вони такі гарні, такі добрі для добрих дітий, так радо бавлять ся з ними серед лісової зеленї, гойдають ся на довгих, тонких, березових гильках (ах, Гандзя так любила гойдати ся!) і сьміють ся так весело, сьпївають так пречудово! Їх голоси, мов срібні дзвіночки, звеніли нераз у Гандзїнних снах, і вона була така щаслива слухаючи їх з далека... Але вона ще ніколи не бачила Мавок на очі. Який жаль, що мама не хотїла сьгодні взяти її з собою в ліс! Сьгодні булаб певно побачила Мавку, о певно! Аджеж їй не дармо снили ся Мавки вже кілька ночий, сьпївали, сьміяли ся так голосно-голосно, гойдали ся на гильках, а все кликали її до себе, в ліс...

— Гандзю, куку! Гандзю, куку! — кликали вони, ваблячи її до себе своїми білесенькими руками. — Ходи до нас до ліса! У нас так тепло, так весело, так любо! Ади, які у нас коси! — і у тебе

така буде! Ади, які у нас гойданки! — і ти на та-
кій будеш гойдати ся! У-у! у-у!... Ходи, ходи!...

Гандзя заплакала. Вона озирнула ся по ха-
ті. Як тут нужденно, вохко, понуро! В кутах ді-
ди стоять — страшно! Їй пригадала ся приказка,
якою втишували її, коли часом плакала:

Лізе кусіка
З за сусіка!
Зуби зазубила.
Очи заочила,
Руки заручила,
Ноги заножила!
В серці їй острый ножище.
В плечех їй дубовий колище!

Вона затремтіла і трівожно поглянула на
стелю, в якій стримів забитий чорний, грубий,
деревляний гак, дивачно понакарбовуваний. Сей
гак в її уяві був »кусікою«. Вона лежачи в по-
стелі нераз довго вдивлювала ся в нього і все
почувала таємний страх; усі страшні повісти, які
їй наговорила баба, вона вязала з тим гаком.
І тепер у німій трівозі вона почала вдивлювати
ся в кусіку, і чим довше дивила ся на неї, тим
виразнійше їй здавало ся, що ся кусіка жива,
що се така стара, погана, зморщена баба з ве-
личезною торбою, в яку забирає малпх дітий.
Ось вона випростовуєть ся, тупає своїми дерев-
ляними ногами, лізе, лізе чим раз ближше до
Ганді!... Гандзя зверецала перелякана і скочила
з припічка на землю, відси видісла на лаву, до
вікна. Там було яснійше. Вона оглянула ся на
хату — нічого; несміло зирнула на кусіку: вона
не рушаєть ся, але чорна, горбата, страшна, як
була вперед. Але на дворі, ах, на дворі так ясно,
так тепло! З вікон видно ліс — ах, там певно
Мавки гойдають ся, чекають на неї!... Ні, вона

не видержить у тій поганій хаті, з тою страшною кусікою, вона вилізе крізь вікно на двір і побіжить у ліс, на хвильку, заки верне мама, побавити ся з Мавками. А як не верне? Як мама прийде швидше, то буде бити. Ні, мама не прийде швидше, аджеж вона буде ось тут на окопі, побачить маму, як буде йти з ліса з грибами.

Гандзя вилізла вікном із хати. Легкий, літній вітерець обвіяв її теплом, розвіяв її коротке, біле мов лен волосе, викликав живішу краску на біде личко; тільки очи падали якимось горячковим огнем, як уперед. Побігла через обору до ліси. Чула ся такою легкою та сильною серед того тепла, в тім сьвіжім повітрі, навіянім запахом нив у розцвіті. Ліса була трошки підхилена; отворити її Гандзя не здужалаб, — кудиж її малесеньким, слабим ручкам до такого тягару! Вона мов мишка пролізла крізь вузкий розтвір, крізь який хиба кітка могла би пройти вигідно, і з усміхом радости на устах, тремтячи всім тілом опинила ся на вигоні, супротив поля. Вітер дмухнув різше на її лице. Гандзя була лише в одній сороччині, довгій до кісток і підперезаній червоною крайкою. В першій хвилі вона почувла щось ніби холод. Але ні, се тільки так їй здавало ся, адже сонічко ось як гріє, деж тут холодно!...

Півперек поля тягнеть ся вузенька стежка до ліса. Гандзя знає добре сю стежку, по ній вона найраднійше любить бігати, з неї виразно видно ліс! Ось він, великий, сумрачний, гомінкий! У Гандзі дух захопує з радости, що ось іще хвильку бігти, і вона буде в лісі, сама!

Вона біжить, тільки що якось не може так швидко бігти, як давнійше. Жито поважно хитає

колосем, коли вона біжучи пересуне ручкою по стеблах. Як вона любить тепер оте жито, ті блаватки та цвітки куколю, що де-де блискають мов сині та рожеві зірки серед ліса золотистих стебел!

— Мавко! Мавко! — кричить Гандзя з радості, біжучи стежкою. — Я йду вже, біжу, ади як швидко! Будемо бавити ся.

Чим раз голоснійше та виразнійше гомонить вічна лісова пісня. Гандзя ловить її вухом, упиваєть ся нею. Серед шуму та гомону листя вона виразно чує щось немов різке плюскане рибок у чистій кришталевій воді: се сьміх та радісні крики Мавок. Вона чує навіть, як вони кличуть її до себе:

— Гандю, куку! Гандзю, куку!

Але як же вони близько! Ось тут таки за окопом, а якже! Любі Мовочки, вони певно прийшли за мною сюди! Тай що не бояли ся! Адже як би їх люди спіймали, то забралиб їх у торбу, а якже!... Дали би тій поганій кусіці в торбу! Але ні, вона не дала би Мавок, вони такі добрі, такі гарні!...

— Мавко! Мавко! — кричить Гандзя що сили. — Я вже тут, я зараз надбіжу, ще лише дрібочку, зачекай!

Ах, ось уже й ліс! Який тихий, величезний, понурий! Берези гріють ся на сонці і сьвітять з далека своєю білою корою. Їх довгі віти мов зелені коси позвисали до долу і колишуть ся з вітром. Ось тут десь і Мавки зараз будуть. Га, певно поховали ся перед Гандзею, але вона закличе їх, вони зараз повибігають, засьміють ся голосно в своїх кутиках...

— Мавко! Мавко! Я вже тут, тут, тут! Ходи, будемо бавити ся!

Гай! Он засьміяла ся одна, але як дакеко! Ах, друга, третя!... Аджеж Гандзя знала, що вони не витримають довго в схованці. Ах, який чудово дзвінкий їх сьміх! Ях любо кличуть вони Гандзю з собою! Тут темно, а там далі так ясно, там повно зіля, такого гарного, пахучого!.. Там гойданки такі легенькі... Ох, Гандзя побіжить за ними, аджеж се не дуже далеко!

*

*

*

Вже вечеріло.

Гандзина мати давно вернула з губами до дому і весь день ходила по селу питаючи за Гандзею. Її ніхто не бачив. Бідна мати чим ближше до ночі, тим трівожнійше бігала від хати до хати, але Гандзі не було ані сліду.

— Тай то, видите, нещасте мое! Якесь уродило ся таке слабеньке та мізерне, а тепер уже з місяць, то раз-у-раз як що говорить, то ніби в горящі! Наговорили їй нашибоваті баби про якийсь Мавок, а вона раз-у-раз про них, і в сні лише Мавки та Мавки! Скарана моя година! А де тепер поділа ся, то вже Господь знає. Тай то вона ніколи не звикла бігати далеко, все пильную та не пускаю...

Але Гандзі як не було, так не було. Вечером мати з плачем упросила кількох людей, щоб ішли в ліс шукати. Але й ніч минула, знайти не могли нічого. Минув і другий день, Гандзі не було. Як побивала ся, куди бігала за той день бідна мати, того й не сказати. Аж на третій день рубаючи дрова в лісі здибали люди маленьку

дівчинку під березою. Вона лежала обнявши міцно березу заковязлими ручками. Отворені очі не блищали вже, тільки на устах застив розкішний усміх; видно, Гандзя тільки що перестала бавити ся з Мавкою.



Під оборогом.

I.

Малий Мирон сьогодні щасливий. Неділя. Йому не веліли сьогодні йти за худобою, не посилають до снопів ані до сіна, ані до жадної иньшої роботи, як у будень; сьогодні справді у нього вакації. Від коли вернув із міста зі школи, се у нього тільки другий такий вакаційний день. І він щасливий. Уся цілотижнева мука на соняшній спеці або слоті, при праці, що часто переходить його дитинячі, десятимісячною шкільною морокою витончені сили, — все те щезає, забуваєть ся. Він бачить перед собою лише сю чудову неділю, сей гарний день, у яким його лишать у спокою — і він щасливий.

Рано він схопив ся з постелі, умив ся, вхопив шматок хліба і побіг у ліс. Для нього нема більшого щастя, як самотою блукати по лісі — рано, в неділю, коли там нема ані живої душі. Се його церква. Він слухає шуму дубів, тремтить разом із осиковим листочком на тонкій гіляці, відчуває роскіш кожної квітки, кожної травки, що

хилить ся під вагою діамантового намиста роси, то знов любуєть ся містичною дрожю таємного і невідомого, яка проходить його, коли загляне в Глибоку Дебру з її крутими берегами, оброслими густим хащем та високими деревами, і коли зо дна тої дебрі зівне на нього густа пітьма та якийсь таємничий шелест чогось укритого на дні тої пітьми — чи то шелест гадюк, що вють ся по сухому листю, чи шемране малесенького потічка, що дзюрчить-капотить по дні... Всі ті неясні почуття, з яких у людській душі зароджуєть ся релігія, переходять малого Мирона в лісі в часі таких самотніх проходів, і вони й творять ту дивну принаду, той чар, яким ліс оповиває його душу.

Хоча ліс великий і займає мало не квадратову милю простору, то проте малий Мирон не боїть ся в нїм: він знає тут кожний яроч, кожду поляну, кожний окіп і кожду »ленію«; мов старих знайомих відвідує що неділі і найкраці дуби, і незвичайно похилену скрипливу березу, що підчас вітру скрипить, мов дитина плаче, і жерельце з солоною водою, де часто сховавши ся серед густих яличок цілими годинами підглядає, як прибігають пити тонконогі серни з малими красенькими серненнятами, і цапи-рогачі, і витріскоокі зайчики. А висидівши ся він іде далі в ялички на знайомі грибовища, і назбиравши купу грибів та зложивши їх разом, добуває невеличкого ножика, сідає біля них на пеньку і починає чистити їх, гуторячи з ними весело:

— А, мій паничику! Вдав ся ти біленький з верху і з низу! Певно лише сеї ночі виключив ся з землі. Тай корінець здоровий! Се гарно. А ви, старенький дідусю! Що то, на зальоти збирали ся, що так одну крису свого капелюха в гору задрали! Ой, погана гилячка! Лягла вам

на голову і от якого шпрама надавила! А ось і панночка-голубіночка, сивенька і кругленька, мов табакерочка! А слимачка в середині не маєте? Як же би ні? Єсть, єсть! Ну, та ще не ушкодив, ще лише встиг розгостити ся. Геравс, Грицьку! Забирай ся звідси, шукай собі якого скрипуха!

Сусід Рябина, також охотник до ранніх проходів по лісі, раз якось підслухав оті розмови малого Мирона і не міг потім наоповідати ся про нього, своїм звичаєм часто і, так сказати, лише теоретично спльовуючи (бо на правду не плював, тільки говорив »тьфу«) і пускаючи слова крізь ніс:

— Тьфу, тьфу, паськуда! Іду стежкою, аж чую, щось жибонить. Тьфу, тьфу, думаю собі, а се що таке? Звір не звір, птах не птах, — прислухаю ся: ніби дитина. Тьфу, аж по мні, знаєте, мороз пішов! Адже то ліс, рано ще, то що би тут дитина робила? І то в таких яличкових гущаках, що хиба лис пролізе. Тьфу, тьфу, паськуда! І сюди заходжу — не можна досягнути, і туди заходжу — не можна досягнути. А воно в самій середині, мов за плотом, жибонить собі тай жибонить! Далі мені аж страшно стало! Тьфу, пек ти, може яка лісова душа. Гадаю собі: чи втікати, чи додивити ся? Та бо озираю ся, білий день довкола, сонечко сьвяте сьвітить! Прислухаю ся, а воно по людськи жибонить, ніби з кимось розмовляє, а другого голосу не чути. Аж чую — хрупнула одна гіляка, далі друга, — просто на мене йде. Аж у мні душа застила. Та бо дивлю ся, а то, вважаєте, той хлопчище, студент-от! Тьфу, тьфу, паськуда, най здоров росте!

І сьогодні рано Мирон був у лісі, вернув аж десь о одинацятій годині саме на обід, а по-

обідавши побіг із кількома сусідськими хлопцями до млинівки купати ся. Викупавши ся він отсе вертає до дому, перейшов кладкою через річку, переліз перелазом у свій садок і помаленьку йде стежкою на невеликий горбок, а потім далі, далі, поміж грядки легко споховастим садком, під овочеві дерева, а йдучи розмовляє своїм звичаєм сам із собою.

— Отсе так! Викупати ся ми викупади. І в лісі були. Двацять вісім грибів ізнайшли. А тепер ще як би грушку достиглу знайти. Е, ці, не знайдемо! Ще грушки зелені. А поки зелені, то вони терпкі. Вкусиш, і язик стане як кілок. І не соковита. Пожуєш, пожуєш, таї мусиш виплюнути. Ну, то що тепер будемо робити? Там деє хлопці побігли на вигін, перебігають ся. Та мені не хочеть ся бігати. Ноги болять. Та деж, я аж на стару леню заходив, та в унятицькій зруб. Малини були славні! Може би ще піти на малини? Ні, не хочеть ся вже, таї тепер там певно народу-народу! Ні, не піду. Ноги болять. Краще ми ось що зробимо: виліземо на оборіг таї полежимо. Там холодок, сьвіже сїно, мух нема, а видно скрізь довкола. Ану!

Се говорячи він саме наблизив ся до оборога, що навантажений сьвіжим сїном на які три сьажні заввишки стояв по кінець саду мов пузатий богач, насунувши на голову свій здоровенний капелюх та розсївши ся вигідно між чотирма оборожинами, мов у широкім кріслі. Хоча не було приставленої драбини, то малий Мирон не дбав про се. Він обхопив руками оборожину і встромляючи свої босі, порепані ноги в туго натолочене сїно та чіпляючи ся руками все висше й висше, мов кицька горі гладким деревом майже моментально видряпав ся на гору, де капелюх оборога майже налягав на

сіно (се так видавало ся з низу, а на правду оборіг був іще з-на локоть понад сіном), і зручним рухом обсунувши ся довкола оборожини, скочив до середини і в першій хвилі майже потонув у сьвіжім, мягкім, пахучім сіні.

— Ось тут гарно! Ось тут чудово! — мало не скрикнув малий Мирон, — але не скрикнув. Він із маленьку привик із усяким виявом свого чуття ховати ся від людей, і для того й тепер не скрикнув, щоб дехто не почув його, тільки півголосом, »жибонячи« сказав сі слова сам до себе — і зараз замовк.

II.

Він лежав якусь хвилю горлиць і глядів. Над ним було нутро оборога — прості палички, позаверчувані скісно в огнива, бігли до гори і збігали ся разом у чубі, а поперек них ішли тоненькі півперечки з ліскового прута, попереживані де-де космиками соломи, а по за тим з верха густа содомяна пішва. І Мирон пригадує, як татуньо робили сей оборіг і він придивляючи ся їх роботі не переставав розпитувати їх про всяку всячину, і як вони від часу до часу відповідали йому.

— А на що, татуню, кладете в огонь кінець огнива? Так ладно видовбали і палите?

— Ні, синку, не палю, а присмалю троха лише з верха. Той кінець буде вистирчати на двір, то щоб не гнив.

— А хіба як припалене, то не буде гнити?

— Ні, синку, до вугля гнилизна не чіпляєть ся.

— А на що, татуню, вертите так скісно дїрки? І зовсім не однаково, одна більше похиlena, а друга менше.

— Так треба, синку. Як повбиваємо в ті дїрки палички, то вони зо всіх чотирох огнив мусять збігати ся до одного чубка.

Мирон іще й тепер пригадує собі, як йому заїмпонувала отся татуньова мудрість, і усьміхаєть ся.

— Зі всіх чотирьох сторін! То штука так зробити. А я як буду великий, чи також потрафлю таке робити?

— Вчи ся, синку, то потрафиш.

— І оттакий оборіг зробити?

— Ще й не такий, синку. От підеш до школи, будеш учити ся багато, багато такого, чого я і гадкою не прибагну, то навчиш ся ще більшої штуки.

Малий Мирон зажмурює оченята і марить хвилину про ті невідомі дива, які обіцяли йому татуню, а потім знов водить очима по скелеті оборога і по тих паличках, що з усіх сторін сьвіта, кермовані мудрою татуньовою волею, так справно і рівно збігають ся в гору до одного чубка.

— А таки се не погана штука! — думаєть ся йому.

В тій хвилі якийсь дивний голос звертає на себе його увагу. Звичайні голоси, які долітають до нього — гавканє Лиска коло хати, піяне когута, цекотанє сороки на грушці — вони торкають його слух і не доходять до уваги. Але се — що се було? Він посуваєть ся по сїні на південний край оборога і визирає крізь щілину між сїном і стріхою оборога на двір. Перед ним стелить ся добре відомий йому вид: похилений

на південь горбик саду, під ним захована між глибокими берегами вузька річка — води не видно з оборога, тільки поруче кладки, прибите до двох верб, що з двох боків хилять над річку свої чепіргаті, задумані голови, — далі невеличкий шмат зарічних огорodів — коноплі й капуста, капуста й коноплі; за ними тільки що скошена лука — де-де ще стоять копиці, а переважно го-да стерня, тоб то не гола, а сіро-зелена, бо вже вкриваєть ся молоденькою, м'якою отавою. А ще да-лі — а з оборога видаєть ся зовсім близенько — густою темнозеленою стіною стоїть ліс Радичів. На його окопі видно поодинокі дерева: онде біла береза спускає в низ довгі, гнучкі па-чоси, що так і просять ся, аби сплести їх на гой-данку; а онде грубезний дуб гріє до сонця свої конарі; а ось тут на мокравині карловаті вільхи густими купками порозсідали ся мов прачки над калюжею. Все те відоме йому, звичайне, хоча він не може без радісного усміху глянути на сю картину, така вона гарна та привабна під сям горячим, сильно блискучим промінем липневого сонця. Але голос, голос! Що за голос доходить до його слуху? Здаєть ся, не чути ніде в селі ані на полі, щоб хто кричав, клепав косу (сьогодні неділя!) або прав шмате, аби Радичів по-требував відьликати ся, а про те Радичів — бо очевидно се він — своїм могутнім голосом гуде та вигукує все одно слово, яке в Миронових ву-хах звучить як:

— Рани! Рани! Рани!

Мирон витріщає оченята, напружує слух, озираєть ся довкола, — ні, нема і не чути нічо-го, що моглоб видавати такий голос. А голос усе йде від Радичова, летять виразнісінько слова

не вимовлені ніякими устами, відгукувані дубами та березами та грабами :

— Рани! Рани! Рани!

Мирунови робить ся моторошно. Він озираеть ся ще раз довкола, прислухаєть ся зазираючи в собі дух, напружує свою уяву, щоб зміркувати, що таке в селі моглоб видавати подібний голос і викрикнути подібні слова, якіб відгукував ліс — про лісове відгукуване він знає добре і не раз випробовував його стоячи в саду та кричачи до Радичова різні слова, — але ніяк не може догадати ся нічого. Невже сам Радичів кричить отак у білий день під горячим соняшним промінем, серед полудневої тиші? І про які рани кричить він? Слова звучать виразно, але не страшно. Се не крик раненої людини, не стогін, не чути в ньому болю, благання — се зовсім не відгук людського ані звірячого крику. Се монотонні, ритмічні вигуки, мов згущенз і на людські слова перетворена музика самого ліса, без чуття, а про те дивно зворушлива в своїй ніби байдужности та елементарній силі...

— Рани! Рани! Рани!

Нема ніякого сумніву! Радичів вигукує такі слова. Немов сонний простягнув ся під соняшним пригаром він лепотить їх крізь сон.

— Про які рани він говорить? — міркує малий Мирон, незначним скоком уяви вважаючи ліс Радичів якоюсь живою істотою. І його фантазія малює йому сцени за сценами важкого, довголітнього конання серед могутньої хвилі лісового життя. Ось вони під одним дубом клали огонь і випалили в його живому тілі велику діру — адже сей дуб хорує, конає помалу! А скільки беріз покалічили вони, вертячи їх весною за соком? А може Радичів пригадав собі тепер усіх

тих серн, цапів та диких кабанів, яких у ньому вистріляно остаточної зими? А може він плаче за тим смерековим ліском у його середині, що згиб торік від червякової пошести?

Мироні робить ся моторошно, немов би він підслухав якусь страшну тайну, немов би заглянув раннім ранком у Глибоку Дебру, — ні, в якусь далеко глибоку безодню повну невідомих і страшних таємниць, і його дитяче чоло морщить ся і дитяча душа дізнає одного з тих потрясень, які в первісному людстві мусіли бути дуже часті і дуже сильні і вилзли ся в почуте релігійного жаху перед невідомим у природі, яке дитиняча людська уява перетворила в невідоме за природою і над природою.

III.

В тій хвилі почув ся новий звук, що змусив Мирона звернути увагу в північний бік. Із заходу, з над Діла загриміло. Мирон глипнув у той бік, а те, що побачив там, так зацікавило його, що він не влежав на місці, підвів ся на коліна, переліз по сні до західнього краю оборога і знов ляг на животі і прогріб собі в сні на стілько простору прогалину, щоб міг вигідно дивити ся.

Перед ним стелив ся снім разом без порівняня ширший і величнійший вид, ніж до полудневого боку. І тут ішли з разу сточисті сади та огороди аж до річки, простягав ся за річкою рівний, також уже скошений пастівник, та за пастівником легкими хвилями підіймали ся все вище й вище орані поля, тягли ся різнобарвними смугами півперек обрїя, немов велетенські по-

стави різної матерії: жовтої, зеленої, сірої, бурої та блакитної, накладені здоровенною стиртою, якої вершок кінчив ся далеко-далеко і для ока творив неначе підвалину, постамент для кольосальної будови — Діла, що величезною темноси-ньою стіною вистрілював, здавало ся, зовсім стрім-ко по над ту шахівницю піль, одностайний, не-доступний, високий аж під саме небо і довгий так, що сягав від одного краю обрїя до другого. Його горішні контури, легко хвилясті, вирізували ся ярко на пречистій небесній блакитї, хоч і він сам висїв над усім краєвидом як здоровенний шмат тої самої блакитї, тільки густої, якоїсь важкої, темнуватої. Лиш у однім місці, де над лінією тої блакитї, між нею і небом висїла сіро-зелена ла-тка, гола полонина Хребті-гори, лише там над тою полониною стояло те, що так заняло Миро-нову увагу.

Се була велетенська голова, мало чим мен-ша від самої Хребти-гори, на довгій, товстій шиї, що, бачилось, вирячала ся з за гори і не то ці-каво, не то з якимось звірячим задоволенєм гли-пала на села, долини, ліси в низу, а отсе нараз звернула свої величезні очища просто на оборїг, під яким лежав Мпрон.

Він пізнав її зараз. Пізнав і очі й ніс біль-ший від ратушевої вежі в Дрогобичі, і низьке, мов праньком розплескане чоло, і густі, темні патли, що розкидали ся на всі боки, і грубі, широчезні губи почварп, що простягли ся в шир від огидливого усміху. Йому здало ся, що той велетень моргає до нього, мов до старого знайо-мого, і він усміхнув ся. Йому не страшно було ані крихти, — навпаки, його сьмішили і широкі губи і довжезний ніс і розстрапані патли велетня.

— Ага, се певно один із тих велетнів, що як один став під Ділом, то другому до Радичова сокиру подав, — мовив сам до себе Мирон. — Ну, ну, нанашку, вилізаї із за гори, покажи, що ти влієш.

І справді мов на розказ хлопчини голова велетня зарухала ся. Розумієть ся, не по людськи. З нею почало робити ся щось таке, що малий Мирон не зводячи з неї очий аж зареготав ся. Носище в неї перекривив ся, одно око пішло в гору, а друге десь кудись у бік, губи розкрили ся і почали роззявлювати ся щораз ширше, а з між них показав ся червоний язик, що почав висолоплювати ся дужше й дужше, звисати низше й низше, немов би збирав ся злизати весь ліс із Хребти-гори.

— Ха, ха, ха! Ха, ха, ха! — зареготав ся Мирон. — Отго ти вибрав ся! Та куди тобі, навіжений! Сховаї свій язичище, сховаї!

І справді велетень немов засоромив ся і сховав свій червоний язик якомсь так незамітно, що Мирон не завважив того. Але його увага була вже звернена на щось инше — на велетневі вуха! Ще перед хвилею їх майже не було видно, а тепер вони раптом хопили ся рости. Ростуть тай ростуть просто в гору — як дві товстючі оборожини, як два величезні роги, а тепер уже виглядають як два вітрила — широкі, замашні. І палти велетня настобурчили ся і також ростуть, розвівають ся, рвуть ся та відривають ся по шматочку, мов жмені сіна шарпаного буйним вітром. Малий Мирон дивить ся на се все і сьмієть ся, сьмієть ся сердечно!

— Ну, що? Чого зупинив ся? — кричав він весело до велетня. — Чому не вилізаєш?

Чого лежиш на однім місці та надуваєш ся? Вилітай увесь! Покажи ся сюди! Чи може мене боїш ся?

Остатні слова вирвали ся Миронови якось так, несподівано, та зараз же потягли за собою ціле пасмо думок чи радше уяв. Адже справді велетень немов зачукавши ся впирав у нього свої величезні очі, а тепер, ледво прогомїли Миронові слова, з над Дїла почуло ся знов глухе бурчане.

— Ого, ти сердити ся! — скрикнув Мирон усе ще в веселім настрою. — І чого тобі сердити ся? Вилітай із за Дїла! Став ся мені перед очі!

В тій хвилі велетенська голова немов справді оживила ся. Вона незграбним і дуже комічним рухом перехлипла ся на один бік, потім на другий, її шия почала видовжувати ся та понизше неї показали ся величезні плечі, мов кольосальна стїна, що заняла чверть усього Дїла, і ті плечі почали висувати ся далі, далі над лїнію Дїла, а голова розростаючи ся все більше, раз у раз немов хитала ся, немов напухала і кривида ся то в один бік, то в другий. Мирон не зводив очий із того дивогляду — і сьміяв ся тепер іще дужше.

— Вуйку! — кричав він плещучи в долоні, — а тобі що таке? Чи тапцювати береш ся? Чи може ти паний? Пригадуеш мені — знаеш кого? Того ріпника, що паний ішов танцюючи по Бориславськїм тракті в Дрогобичі. На тракті болото по кістки, рідке і чорне як смола, а він чалапчалап то на один край вулиці, то на другий, руками розмахує, голову викривляє точнісінько як ти, широкий, заслинений рот роззявив і що сили реве танечну пісню:

Заграй мені: тадрітом!
Тай іше раз: тадрітом!
Заграй мені круцю-верцю
Тай іше раз тадрітом!

— Ха, ха, ха! Вуйку! А може й ти потанцював би так само? Може й ти заспівав би »круцю-верцю«? Ану, втни лише!

— Вуррр! — загуло з над Діла і легесенько, мов несьміло ще підхопив той гуркіт Радичів і мов опуку перекинув його через долину до Мирона під оборіг. Хлопець не злякав ся, але його сьміх затих і він почав уважнійше дивити ся на голову того величезного »вуйка«. Голова вже розросла ся так, що її годі було й пізнати навіть при живій та передразненій Мироновій фантазії. Вона творила над Ділом величезний, темносиній бовдур, а її патли білими рівними пасмами покрили вже пів неба і як раз добігали до сонця. Тільки дві точки показували ще подобу голови, се були очи велетня. Тепер вони вже нахилили ся не над Ділом, а ось-ось близько над горішнім кінцем села, і не знати, чи від сонця, чи від якогось внутрішнього огню вони налили ся пурпуровою загравою, обертали ся на місці мов два огняні колеса, і Миронови здавало ся, що вони з якоюсь дикою злобою дивлять ся на нього. Він уже не міг сьміяти ся, але його веселий гумор ще не мпнув зовсім і він іще раз підняв голос супроти велетня:

-- Що, вуйку, сердиш ся? Хибаж я образив тебе? Я ж тобі не сказав прикрого слова. А як не хочеш танцювати, то я тебе не силую. Може заграеш? Га?

Номов відповідь на се питане загуло сильним громом із вершка Діла. І Радичів і Панчужна і дальні ліси відізвали ся тепер сильним риком.

І той рик збудив у ярах якусь нову силу. Молотий звір зі схованки вихопив ся буйний вітер і зашумів, засвистів, заскиглив у лісах, застогнав у крутих берегах річки, покотив ся по сіножатях курявою розшарпаного з копиць сіна, а по гостинці, що йшов поміж нивами, підняв ся до неба сіро-жовтими бовдурами пороху. І немов у одній хвилі змінив ся весь кругозір. Хмари загасили сонце, погасли й пурпурові очі велетня, щезла східня, доси ще чиста, всьміхнена половина неба, щез привид велетня, все небо заволокло ся темною важкою хмарою, а з понад Діла понизше тої хмари почали гнати величезні сірі коні на схід, усе на схід, швидко, швидко! Зразу поодинокі, далі рядами, а далі цілими табунами. Вони перебігали все небо за кілька хвилин і ховали ся десь там за лісом, а за одним табуном вилітав із за Діла другий, третій. Вихор розвівав по собі їх гриви, сотки копит стугоніло по небесному помості, а з під тих копит бризькали грубі, холодні краплі води, з разу рідкі, а де далі все густійші. Кілька тих крапель упало Мпронови на лице вихилене троха з під оборога, — се були немов вимірені на нього стріли невидимого велетня. Він стрепенув ся. Він почув виразно, що велетень сердить ся на нього, грозить йому чимось, своїм шумом і свистом і стогнанем кличе на поміч якісь страшні сили. Вітер ухопив ся під оборіг, почав шарпати сіно довкола Мирона, а навіть дмухнув якоюсь ледовато холодною струєю хлопцю за розхрістану пазуху. Від того подиху він затремтів увесь, відсунув ся троха від краю оборога, скулив ся, зариваючи ся глибше в сіно, та все таки не зводив очий із заходу. Хребти горіані Діла вже не було видно. Велетень, бачилось, увесь уже пересунув ся на сей бік Діла і ляг грудьми

ча Підгірю. Але на Ділу чути було тепер ненастанний глухий гуркіт, немов там пересипали великі копиці товченого каменя. Велетень пересував через Діл своє здоровенне черево, наповнене знищеним і руїною, щоб висипати його зміст на плодючі ниви та невижаті збіжа благодатного Підгіря.

Мирон увесь тремтів. Він тер долонями своє розпалене чоло, немов силкував ся зміркувати, що тут дієть ся і до чого воно йдеть ся.

IV.

Помалу картина змінила ся.

Доси лише над Ділом хвиля за хвилею митали червоні блискавки, немов незримі руки перекидали ся там розпеченими зелізними штабами. Та тепер раптом потемніло. Небо засунено густими фіранками, а під оборогом засіла майже щільна пітьма. Але в тій же хвилі якась сердита рука роздерла фіранку від одного краю неба до другого і обсіпала всю землю страшним, сліпучим світлом. І рівночасно ревнули немов сотки громів, немов тисячі гарматніх вистрелів. І затрясла ся земля. І Миронови бачило ся, що оборіг із сіном і з оборожинами з жаху підскочив на сяжень від землі і зараз же знов сів на своє місце, та готов зараз же завалити ся на бік. Рев був такий страшений, що Радичів і Панчужна мов забули язика в роті, мов оніміли і не озвали ся привичною луною, — може не могли з себе видати такого міцного голосу. Тільки далекі Діли — Попелівський та Бориславський озвали ся і заклекотіли довгим, грізним гуркотом.

Але за першим ударом швидко наступив другий, третій. Блискавки бігли з різних сторін до середини неба, саме до того місця, під яким стояв оборіг. Вихор клав на землю збіже, ломав гіляки дерев, свистів вербовим прутем біля оборога і бачило ся, спирав ся дужими плечима о сіно та оборожини, щоб перевернути оборіг або бодай зірвати з нього наголовач. У природі скрізь пішов нечуваний заколот, рев, шум, тріск і скрип. Мирон лежав на сїні не чуючи нічого, не бачучи нічого, і тільки витріщав оченята, затикав долонями вуха і силкував ся, силкував ся щось пригадати собі.

Він не бояв ся смерті і ся думка, що ось перун може вдарити в оборіг і вбити його, якось не постала в його голові. Так само він не бояв ся ані реву бурі, ані гуркоту громів, ані того виду шалючих елементів, бо все те було не чуже йому, до всього того він придивляв ся нераз. Так само не бояв ся він самоти серед того шаленого танцю природи, — він любив самоту і йому не першина була пробувати самому під дождем та під громами. А про те щось немов млоіло його в нутрі, щось важке налягало на душу, підступало до горла, душило мов силоміць стримуваній кашель або здавлюваній слёзи. Його голова працювала сильно, уява мучила ся, щоб пригадати щось, та про те не могла пригадати, вила ся та висилувала ся мов живий чоловік привалений каменем. А жах чим раз сильніше хапав його за груди, волосе на голові їжило ся, холодний піт покривав дитиняче чоло.

— Що то я мав? — — Що то я мав?
— — белькотіли несвідомо уста, тимчасом як долоні що сили затикали вуха, щоб їх не оглушув шалений рик громів та рев бурі.

Аж нова блискавка, що розпороза черево літми і велетенським зігзаком скочила в Радичів і тут же розсипала ся оглушливим брязкотом, мов би з безмірної висоти висипано сто возів усякого заліза на скляний тік, — аж отся блискавка допомогла його уяві. Раптом він зрозумів, чого йому страшно, зрозумів, що значить отсей глухий гуркіт у хмарі, грізнійший і важчий від тріскоту громів та реву бурі, і що значить той тоненький бренькіт, що ледво-ледво продирав ся до його слуху крізь загальний гармідер розшалілої природи, бренькіт немов золотої мушки, що сіпаєть ся в павутиню: се був голос дзвонів, якими дзвонено на тривогу, на прогнане граду і який тепер, супроти тої гігантської музики в природі виглядав мов цінккане дрімби супроти мугутньої оркестри. Мирон зрозумів усе те відразу. Блискавка показала йому ясно широкі поля покриті ось-ось уже доспілим житом, колосистою лпеницею, вівсом, конюшиною, сіножати покриті травами, і все те аж прилягає до землі під шаленими подувами вітру, хилить ся, кланяєть ся, молить ся, благає:

— Пощади нас! Пощади нас!

І його уява бачить уже, як страшний велетень там у горі кривить ся злобно, морщить ся, регочеть ся тим кольосальним реготом, від якого Діли стрясають ся в своїх віковичних посадах, і реве своїм страшним голосом:

— Га, га, га! Ось я вас зараз! Ось я вас зараз!

Голос посвячених дзвонів замирає у клеті тих безмірних куп товченого леду, що горами насувають ся в отій темносірій хмарі, — ні, їм не спинити велетня! Мирон чує, що ще хвилина, ще один удар грому, і шлюза відімкнеть ся,

і бухне фатальна градова злива, і застогне земля, і все живе на ній повалить ся до долу, і вся краса й радощі на ній упадуть у болото мов ранені птахи, — і його дитяче серце зупиняєть ся, в голові шумить, у очах бігають огняні іскри, і він сам себе не тямлячи, в якімось припадку екзальтації, істерії, божевіля простягає обі руки по за острішок оборога і що сили кричить:

— Не сьмій! Не сьмій! Тут тобі не місце!

Замість сподіваного страшного грому, що мав бути початком руїни, чути лише глухе воркотане, сердитий гуркіт велетня.

— Не сьмій! Я тобі кажу, не сьмій! Тут тобі не місце! — кричить малий Мирон грозячи кулаками до гори.

Вітер у берегах ріки свистить, вищить, завиває, мов сердить ся.

— Ні, не пущу! Не сьмій тут розсипати ся! Не пущу! — кричить Мирон мов божевільний.

Над Ділом змагаєть ся клетіт. Здаєть ся, що нагромаджені засоби руйнної матерії пруть ся, тиснуть велетня і що він гнеть ся та стогне під їх вагою.

— Не сьмій тут! Вертай назад! На Діли, на дебри! Сюди я не пущу тебе! — не перестає кричати Мирон.

У хмарі, сим разом уже не над Ділом, але ось тут, майже над головою Мирона, почув ся страшний гуркіт та клекіт. По над Ділом літали блискавки. Хмара грубшала що раз більше, нависала над землею, робила ся тяжпою; здавало ся, що там давить якийсь страшений тягар, та щось з нечуваним зусилем піддержує його з низу і ось-ось пустить, і тягар упаде на землю і розвалить, розітре все живе на порох. Дивні голоси

немов пищали, скиглили, скомліли та ревли в тій хмарі, але рінучого, фатального удару все ще не було.

— Не пушу! Не пушу! — кричав Мирон. — Даремно гроиш! Я не боюсь тебе! Мусиш слухати мене! Адже бачиш, що я міг сперти тебе доси. І зіпру! І не пушу! Вертай назад! На гори, на Діли! Не сьмій тут пускати!

Хлопець підняв ся на коліна. Його лице горіло, очи горіли, в висках стукала кров як молотами, віддих був прискорений, у грудях хрипіло щось, немов би й сам він двигав якийсь величезний тягар або боров ся з кимось невидимим з крайнім напруженем усіх своїх сил.

Писк, клетіт, зойк у хмарі зробив ся ще дужший. Ось-ось вона трісне, ось-ось сповнить ся велетнева погроза. Навіть вітер утих на хвилю. Блискавки над Ділом погасли. Була хвилинка страшеного, трівожного напруження в усій природі; все, що живе в низу, дерева, збіжя і трави, звірі й люди стояли тремтячи і запираючи в собі дух; голос дзвонів на далекій дзвінниці чув ся тепер виразно, але не як сильна, переможна сила, а тільки як жалібне голосіне по помершім.

Та малий Мирон і тепер не подав ся. Він чув, що послабни він тепер, опусти руки, знизил голос, і найблизша хвиля принесє спустошене на все село, і велетень зареочеть ся всею своєю величезною хавкою і засипле, погребє, розторочить усе жите довкола. Він чув, що його сили слабнуть, що руки й ноги у нього вже похололи як лід, що його груди здавлює щось, що якась холодна рука мов кліщами стискає його за горло, але він безмірним напруженем волі ще раз підняв голову до гори, наставив оба кулаки протн хмари і як міг найголоснійше кричав:

— На боки! На боки! На Радичів і на Панчужну! А тут не сьмій! Анї одного зеренця на ниви! Чуєш!

І в тій хвилі немов нараз знято таємничу печать із природи, немов відсунено невідомий замок, немов піднято запору! Заторохтіли громи, осліпили очі блискавки, що немов з усіх кінців сьвіта рівночасно вдарили в середину градової хмари, і та хмара розділила ся моментально на двоє, і страшений вітер заревів та почав гнати одну її половину на Радичів, а одну на Панчужну, два ліса, що обмежали село від півдня і від півночі. Ще хвилина, і над Радичовом стояв величезний, щільно густий, сірий стовп — се валила ся на ліс градова туча. Ще хвиля, і з ліса почув ся глухий стогін, тріск, хрускіт дерев, ломіт валених гильок, і зеленою курявою поніс вітер понад сим пеклом зелене листе, пооббиване з дерев. Малий Мирон затрусив ся. Щось спазматично захлипало в його горлі і зараз попустило. Його сили були вичерпані. Він мов неживий повалив ся на сіно, з його очий бризнули слези, а з грудий видобув ся непритомний сьміх.

— Ха, ха, ха! Ха, ха, ха! А видиш! А видиш! Я дужший від тебе! Ти таки послухав мене! мусів послухати! мусів піти туди, куди я велів! Ха, ха, ха! Ха, ха, ха!

Під рев вітру, клекіт граду над лісом і шум дощу над оборогом, при частих, але що раз дальших громових ударах ще чути було якийсь час отой різкий, божевільний регіт знесилоного хлопця. Поки ще буря перейшла, він з головою заритий у сіно запав у глибокий сон.

V.

Вечеріло. Небо вже зовсім прочистило ся, тільки далеко на сході стояла ще темна смуга хмари. Бурлила річка котячи повні береги темно-жовтої, каламутної води. Було холодно; від ліса віяло ледовими подихами; там насипало граду майже в коліно. Масу дерев поперевертало з корінем, а купи граду скрізь були перемішані з оббитим листем та обломаними гіляками. Люди ще бліді від перебутої тривоги ходили по полях, хрестили ся і дякували Богу, що градова туча обминула їх ниви.

— Мироне! Мироне! — кликала Миронова мати ходячи по саду та озираючи ся довкола по червонілими від плачу очима. Вона оббігала вже всі хати по селу, всі закамарки і всі сади; батько й інші домашні затурбовані тим, що дитина не вернула ще перед бурею, і боячи ся, щоб вона не побігла в ліс та не попала там під град, порозбігали ся по лісах шукаючи Мирона. В хаті стояв сум, чяпіла по кутах глуха тривога. Всі сусіди також були затурбовані; деякі й собі пішли шукати хлопця, інші стояли на парелазах та вигонах, розмовляли або потішали затурбовану Миرونу матір.

— Та не бійте ся, кумо — говорила Василя. — Тож не може бути, щоб він пішов у ліс.

— Рано ходив у Панчужну, — говорила мати. — Прийшов на обід, ззів дещо як той горобець тай побіг. Ще питаю його: Куди йдеш? а він каже: Купати ся.

— Та там ходили діти до млинівки. І мій Андрусь ходив.

— Отож я й бою ся, чи він від млинівки не пішов у Радичів.

— Ні, кумо! Андрусь казав, що від млинівки він вернув до дому.

— А леж дома ніхто не бачив його.

— А не шукали ви в стодолі, під оборогом? Може запхав ся де в сіно та заснув.

— Та шукали хлопці. Скрізь по стодолі шукали. Нема. А під оборогом — або я знаю. Тай як би він дістав ся під оборіг? Там до нього й драбини нема приставленої.

— А йдіть, кумо, йдіть! Хлопець як вивірка. Хиба йому багато треба, аби вилізти на оборіг. Ану подивіть ся!

Миронова мати була ще молода молодиця, здорова й енергічна. Їй не треба було два рази говорити, особливо коли діло йшло про її любого сінка. Вона так само як Мирон вилізла по оборожині під оборіг і заглянула до середини.

— Ні, не видно нічого! — сказала вона на пів до себе самої, а на пів до Василихи, що стояла за плотом у своїм саду. І вже хотіла злазити в низ, коли в тім щось немов торкнуло її вилізти зовсім на сіно і заглянути ближше. Вилізла і в тій хвилі побачила Мирона, який спав заритий у сінні так, що здалека зовсім не можна було добачити його.

Мати аж перекрестила ся, потім сіла на сінні біля сонного хлопця, відгорнула йому злегка сіно з над голови і вдивляла ся в зарум'янене лице дитини. В тій хвилі Мирон відкрив очі і побачив матір.

— Ах, то ви, мамо? — запитав він.

— Я, сінку.

— А довго я спав?

— Уже сонічко заходить.

— Але то мені снило ся!...

— Що, синку?

— Що над Ділом стояв велетень — чорний і страшний — а потому почав вилазити з за Діла, і хотів засипати градом усе наше село. І сердив ся страшенно.

— То, синку, справді, туча була.

— Справді? І засипало поля градом?

— Ні, синку. Бог милував. Перегнало градову тучу, розірвало її на двоє. Одна часть висипала ся на Радичів, а друга на Панчужну. Такої кари в лісі наробило, що глянути страшно. Не дай Боже, як би було се висипало на поля, то було би витовкло все до кореня.

Мирон усміхнувся якимось дивним сьміхом.

— Се я зробив, мамо, — мовив він.

Мати глянула на нього зачудуваними очима.

— Ти, синку? Що таке ти зробив?

— Я не пустив граду на ниви.

Мати всьміхнула ся якомсь маркітно.

— А се ти як зробив?

— Я боров ся з тим велетнем.

— З яким велетнем?

— А з тим, що тяг із за Діла градову хмару. Я спинив його. Я накричав на нього. Він сердив ся страшенно, але не міг переперти мене.

Мати всьміхнула ся знов і повеселїла.

— Се ж тобі снило ся, синку.

— І я так гадав, мамо, що снило ся. Але коли справді була градова туча і коли справді град пішов на ліс, то се мені не снило ся. Адить, я весь мокрий, так утомив ся. І руки мокрі зовсім, бо я держав їх виставлені на дощ.

— По що, синку?

— А, як би я був сховав хоч одну, то він був би переміг мене.

Мати знов усміхнула ся, але в її очах заблищали сльози. Вона притулила уста до Миронного чола і почула в ньому горячку. Цотім поцілувала хлопця і мовила:

— Добре, синку, добре. Але нікому не говори про се. І таткови не говори.

— Чому?

— Бо би татко дуже гриз ся.

— Я не хочу, аби татко гризли ся.

— А ти ніколи більше під таку годину не виходи з хати.

— Чому?

— Не добре малим дітям бути самим серед таких страховищ.

— Алеж а не бояв ся, мамо.

— Добре, добре. Але міг перелякати ся і смерти зо страху. І тоді мама плакалаб за тобою.

— Не треба, аби ви плакали.

— Ну, а тепер ходім до хати. Там десть татко вже з ліса вернув.

— А чогож татко ходили в ліс?

— За тобою шукати.

— Ото, а я й не знав. А я сплю собі тут як у колісці. А про те добре, що я був сьогодні під оборогом. Як би не я, то був би сьогодні град усі поля витовк.

Мати знов довго погляділа на сина. В її очах мигнула турбота. Вона бояла ся за здоровле свого сина. Але разом з тим на дні її душі за-клубив ся якийсь забобонний жах. Ануж справді у хлопця якась особлива натура? Ануж він має звязок із якимись надприродними силами? Нераз уже в розмовах з нею він закидав такі слова, що вона не то дивувала ся, не то жахала ся його. І тепер знов! Не вже в його словах не хобора, не горячка, а якась правда таємна, висна, недоступна їй?

Вона притисла Мирона до себе, перехрестила його і цілуючи в розпалене чоло мовила ще раз :

— Добре, синку, добре. Але пам'ятай, не говори про се нікому.

— Чому, мамо?

— Бо всі будуть із тебе сьміяти ся. І тоді твоя мама буде також плакати.

— Ні, мамо! Не треба, аби ви плакали. Не буду говорити про се нікому.

І в якімось дивнім, сьвяточнім настрою обое, з разу хлопець, а потім мати, злізли з оборога і мовчки пішли до хати.

Львів 18—22 січня 1905.



Мій злочин.

Ні, не видержу! Не можу довше видержати! Мушу прилюдно признати ся до гріха, хоч знаю наперед, що на душі мені не буде легше від того. Адже-ж відплата тут неможлива, бо яка-ж відплата може винадгородити невинно пролиту кров, надолужити замордоване жите?

Так, у мене на сумліню забійство. То значить, не се одно тільки. Адже-ж чоловік — великий, систематичний, рафінований убійця між божими сотворіннями, тай усі ті сотворіння з свого боку докладають і свою добру пайку до загальної великої сімфонії убійств, котру нам подобаєть ся називати »органічним житем«. Усі ми вбиваємо на кождім кроці, ріжемо, топчемо, давимо, нівечимо мільони живих творів. Анї хвилі не можемо жити без убійства. Наші страви, наша одіж, наші забави, наш хід і наш сон, навіть наш віддих, усе те непереривний ряд тисячів і мільонів убійств. А найцікавіше те, що ми навіть не спостерігаємо сього. Та не тільки анатемські мікроорганізми вбиваємо з байдужним серцем. Навіть наших висше устроєних братів, риб, раків, птахів і зві-

рів ми мордуємо без гризоти сумління і заспокоюємо себе тим одиноким і найвисшим *raison d'état*: треба нам їх для власного прожитку. Як чоловік, що за молоду вибирав пташачі гнізда, ловив мотилів, збирав комах, а й досі не покинув замилювання до риболовства, я маю на сумління певно не мало тисяч таких убійств. Та про те всі вони забуті і тільки се одно мучить і гризе і вертить мою душу довгі літа. Тільки се одно не вмирає і не вигасає і оживає все на ново, болить тим гірше в моїм нутрі, чим більше силкую ся забути про нього, затерти його.

Аж страшно мені робить ся, коли ціла ота нещасна подія ясно, з усіми подробицями вирине в моїй пам'яті. Від того часу минуло багато літ, певно більше як трицять. Я був тоді невеличкий сільський хлопчина і бігав граючись по лісах і полях могого рідного села.

Власне надійшла весна, один із перших гарних, теплих днів. Перший раз по довгій зимовій неволі в тісних, душних хатах ми сільські діти могли побігати собі свobodно. Ми вибігли на сіножать, що ще була гола і сіра від скиненої недавно зимової перини. Тільки десь-не-десь прокльовувала ся з землі сьвіжа зелень: сквапливі ostrі листки тростини, ще позвивані в ostrі шиша, листки хрину та лопухів над потоком. Тільки в недалекім лісі сподом усе забіліло ся від дикого чеснока, що власне починав уже відцвітати, від білих і синіх підліщків.

Над нами здвигало ся темно-синє склепінє неба, всьміхало ся сонце, а на далеких вершках Карпат блискотіли ще здорові снігові шапки, мов іскристі діамантові корони. Та їх краса не зворушувала нас надто дуже, бо ми почували кождої хвилі холодний зимовий подув, що йшов від них

у низ до сходу сонця. І річка почувала се; в ранці вона була ясна і чиста і плюскотіла тихенько мов у літі, а тепер клекотіла гнівно в своїх тісних берегах і протискала ся в низ своїми жовтаво брудними, розбурханими водами: се були як раз оті блискучі діаманти, розтоплені весняним сонцем.

Та все те не в силі було попусувати нашу весняну радість. Ми ходили, скакали і підскакували і бігали довкола і відвідували всіх наших знайомих: старого могучого дуба на краю ліса, що то по його крепких конарах ми літом лазили навзаводи з вивірками; високу, похилену березу з жалібно навислими тоненькими гильками, що ми їх звичайно надуживали на гоїданку на велику гризоту пана лісничого; тихі криниці в лісовій гущавині, де ми позасідавши за грубими яворами та вязами нероз придивлялися вечерами лисам, борсукам та диким кабанам, що сюди приходили пити; і вкінці глибокі, чисті млинівки, де ми що неділі з гачками чатували на щупаків, а коли припекло сонце, з криком і реготом осьвіжували ся в чистій, холодній воді.

Кожде місце довкола тих млинівок, найбільш улюблений терен наших забав, оглядали і обнишпорювали ми зовсім докладно. Се був спуст стародавнього великого ставу. Півперек долини, від ліса до ліса підіймала ся здоровенна гребля, що тепер, обривняна і здавна розорювана плугом виглядала як довгий, рівний горб, тільки в трьох місцях перерваний: раз потоком, що тут скручував аж під ліс і гнівно булькотів і рвав та підмулював високий, стрімкий беріг, і два рази згаданими вже млинівками, одинокими останками колишнього панського ставу. Ті млинівки були не надто широкі, глибокі з на сяжень, отінені декуди

вільхами, вербами та лозовими корчами. Літом густа, пахуча трава та квітки білої конюшини нависали з берегів аж над саме водяне зеркало. Тепер, що правда, довкола було досить голо і сумно, тай у воді, що в літі густо-часто оживлювала ся плюскотом щупаків і громадами червонооких плотиць, які звичайно плавали цілими купами під проводом одної найбільшої, тепер було тихо. Та ми про те що крок заглядали цікаво в воду, під кожний прут, під кожний зівялий лопух, у кожний корч, чи не задусив ся де який наш знайомий щупак під ледом, або чи пані видра не була ласкава зробити нашим риbam візиту.

— Псе! Псе! — засичали нараз два чи три хлопці, що йшли передо мною, схилили ся до землі і поповзли тихо наперед, намагаючи ся обступити довкола один корч.

— А вам що таке? Що там таке? — запитав я поневолі також шептом.

— Птах! Птах! Не бачиш його?

— Де він? Де?

— Ось тут у корчи. Побіг. Ми ще такого не видали. Не літає мабуть, лиш бігає.

Поки ще хлопці обступали корч, я пішов просто до середини корча, обережно розгорнув густі гилячки і побачив справді невеличкого пташка, що сховав ся в торічній сухій траві. Не знаю, чи він був ослаблений, чи переляканий, досить, що побачивши мене над собою не полетів і не побіг і я в тій хвилі мав його в руці. Всі хлопці позбігали ся, аби побачити мойого бранця.

— Ах, який гарний!

— Такого пташка я ще не бачив ніколи.

— Гляньте лише на його очи!

— А його піречко.

Се був маленький болотяний пташок, які в нашій підгірській околиці показують ся дуже рідко. Піре на нїм було попеласто сіре з легеньким перловим полиском, дзьобик тоненький, темно зеленковатий, і такі-ж самі довгі, тонесенькі ноги. Він сидів тихо затулений у моїй долоні, не тріпав ся, не дряпав і не дзьобав, як се звичайно чинять иньші дикі птахи, коли їх зловити в руку.

— Що ти будеш робити з ним? — запитали мене деякі хлопці, озираючи зависними очима гарну добичу в моїй руці.

— Понесу його до дому.

— Будеш його пекти?

— Або я знаю. Буду його годувати.

— А знаєш, що він їсть?

— Побачу. Коли не схоче їсти хліба, то може буде їсти мух, а коли не мух, то хробаків, а коли не хробаків, то слимаків або сімя або пшоно. Вже щось винайду для нього.

Я справді поніс малого, гарного пташка до дому і посадив його не до клітки, а в середину подвійного вікна, де мав більше куди бігати і літати, більше сьвітла і повітря. Пташок не літав і не перхав, а тільки бігав здовж шиб, тут і там постукуючи своїм тоненьким дзьобиком о скло, та раз-у-раз, як мені бачилось, тужно поглядаючи на широкий, вольний сьвіт. Часом зупиняв ся, схиляв головку і знов підносив її наглим, пташачим рухом або перекилював її на бік, так що одно око, бачилось, блукало по гильках близької яблуні, і потім знов потакував головою так сумно і зрезигновано, немов би хотів сказати :

— Ах, там на дворі так гарно і тепло, та моя весна пропала! Я в неволі!

Мене щось немов шпигнуло в серце, коли я кілька хвиль придивляв ся сьому пташкови. Мені самому зробило ся сумно.

— Пусти його! По що будеш його держати тут! — прошептало щось у мойому нутрі.

— Але-ж він такий гарненький! І я-ж зловив його! — відповів я вперто собі самому. — Може він привикне. Коли-б я тільки знав, чим його годувати!

З годованем мав я справді чимало клопоту. Я поклав пташкови кілька кришечок хліба, кільканацять зерняток проса і кільканацять хатних мух, кожний рід поживи окремо в чистенькій мушлі, поставив йому черепок води і пішов геть, аби лишити його в спокою. Коли вечером я повернув до дому і зазирнув до свого пташка, то побачив, що він ані не доторкнув ся до поживи, тільки сидів у кутику, високо в гору простягнув тоненьку шийку і не змигаючи оком глядів крізь вікно на двір, де серед пурпурової пожежі заходило сонце за снігову шапку Хребти-гори, і від часу до часу потакував головою так сумовито і безнадійно, що я не міг довше дивити ся на нього.

— Може се нічна пташина, — подумав я, — і аж у ночі буде їсти.

Ся думка заспокоїла мене троха і я спав твердо і не думав про пташка. Скоро рано, ще до схід сонця, я побіг знов до сьвітлиці і зазирнув до вікна. Пташок усе ще сидів на тім самім місці, де я вчора бачив його, усе ще простягав шийку високо до гори і все ще не змигаючи оком глядів крізь вікно на широкий, вольний сьвіт отам за скляними шибамі і від часу до часу потакував головою. До поживи ані не доторкнув ся.

— Пусти його! Пусти його! — закричало

щось у мойому нутрі — По що тобі мучити його? Адже-ж він згине з голоду.

— Ні, — відізвав ся иньший, упертий голос у мойому нутрі, — я мушу видибати, чим він годуєть ся! Принесу йому слимаків і хробаків і жаборини.

Не знаю, відки мені стрілила до голови така думка, що він може їсти жаборину. Досить, я побіг на пасовиско, назбирав усяких дрібних слимачків, накопав хробачків і виловив з води добру жменю жабячої ікри і приніс усе те мойому бранцеві. Він навіть не звертав уваги, коли я всі ті достатки клав перед нього, не показував ані страху, ані найменшої цікавості, ані крихітки апетиту на ті ласощі. Здавало ся, що тільки сонце і тепло і весна там на широкім вольнім сьвітлі займали всю його увагу.

Того дня мав я якусь роботу, то-ж пішов геть і вернув аж вечером. Я поспішив ся заглянути до пташка. Він бігав легенько потакуючи здовж шиб і навіть не доторкнув ся до поживи.

— Диво дивне! — подумав я і хотів зараз випустити його на волю. Та мені прийшло на думку, що тепер він певно ослаблений і не здатний до літання, а коли зараз вечером випущу його ось тут на подвір'ю, то се буде для нашого котика дуже легка і пожадана добыча. Ліпше буде, коли ще сьогодні він переночує у мене. А завтра ранісінько я занесу його на те саме місце, де його здловив, і пушу на волю.

Другого дня, схопивши ся ранісінько з со-
ломи, я побіг до свого бранця. Він усе ще не брав ся до ніякої поживи і сидів ослаблений і втомлений у куточку, очима все зазираючи крізь вікно на волю. Він спокійно дав себе взяти і поглянув на мене тими самими невимовно сумними

оченятами, якими дивився крізь шиби на сонце та на яблуневі гильки. Раз навіть він потакнув головою, немов би хотів сказати :

— Так, так, знаю вже, куди мене несуть. Я вже давно знав, що воно дійде до того.

Я виніс його на подвірє. Він сидів спокійно в моїй долоні і не пручався. Я чув його м'яке пір'ячко і його тепле тіло.

— А смачне мусить бути його мясо! — стрілила мені нараз думка через голову. — А що, як би його зарізати і дати спекти?

— Пусти його! Пусти його! — шепче щось мов добрий ангел у моїм нутрі. — Адже-ж бачиш, він такий маленький. Навіть заходу не варто, щоб його пекти.

— Але-ж бо шкода його пускати! Я-ж зловив його! — бунтувала ся дитяча впертість у моїм нутрі.

— Пусти його! Пусти його! — лебеділо щось тихо-тихо в найглубшій глибині моєї душі.

А пташок сидів тихо і зрезигновано в моїй жмені. Я отворив долоню — він не полетів. Щось огидливе, злорадне тріумфувало в моїм нутрі.

— Бачиш! Він сам не хоче! Ти-ж дав йому змогу втікати, чому-ж не втікав?

— Але-ж він слабкий і зголоднілий, — лебеділо щось тихо-тихо в глибині моєї душі.

— Ет, що там! — скрикнула дитяча впертість і в найближшій хвилині я відкрутив головку малому, гарному пташкови. Він затріпав раз чи два рази своїми тоненькими ніжками, з шийки виплили дві чи три крапельки крові, і малого, гарного пташка не стало. В моїй долоні лежав холодний, бездушний труп.

І нараз зломилася, розвіялася вся моя впертість, моя завзятість, мое самолюбство. Я почув виразно, що я отсе зробив щось безглузде, огидливе, що я допустився безсердечного вбивства, навалив на себе провину, якої не відпокутую і не відмолю ніколи. Адже-ж я знівечив зовсім безцільно таке гарне, невинне жите! Ось тут, на вольнім божім сьвітї, перед лицем сього ясного, теплого, весняного сонця я видав і сповнив жорстокий, нічим не мотивований засуд на смерть. Тепер я почув зовсім ясно і виразно, що се вбивство було зовсім безцільне. Адже-ж сього бідного трупика я не зможу ані обскубити, ані їсти. Ні, я не мав сили навіть ще раз поглянути на нього. Я випустив неживого пташка з руки і засоромлений, стурбований, пригноблений і змішаний я побіг геть, геть від нього, щоб не бачити його, щоб затерти в душі навіть споминку про нього. Мені дуже хотїло ся плакати, але я не міг; щось немов кліщами стискало мою душу і вона не могла в сльозах вилити свого болю. Маленький, гарний пташок лежав у моїй душі, я понїс його з собою і мені здавало ся завсїгди, що він глядить на мене своїми невимовно сумними оченятами, глядить з тихою резигнацією, потакує головою і шепче тихо-тихесенько:

— Ах, я се й знав, що пропала моя весна, що неволя буде zarazом і моя смерть!

У мягкому, вразливому дитячому серці не довго тривали ті турботи. По двох-трьох днях я вже забув про пташка і його нещасну долю. Забув, бачилось, на завсїгди. Вражїне мойого злочину залягло десь у темнім кутї моєї душі і звільна його присипали, прикрили і погребли иньші вражїня, иньші спомини.

А про те воно не завмерло. Минуло цілих двадцять літ, і коли на мене звалив ся перший великий удар нещасливої долі, коли я молодий, з серцем повним жаги, бажання жити і любити, посеред чудового літа сох і вянув у тюрмі і мусів почувати, як розбивали ся всі мої надії, як без милосердя толочено, розтоптувано, без ціли і без ума нівечено та руйновано все те, що я вважав найдорожшим скарбом своєї душі, тоді серед тривожної, безсонної ночі явив ся мені той маленький, гарний пташок, шпигонули мене в саме серце його сумні, повні тихої резигнації оченята, прошептали мені його повільні рухи ті несамовито старші слова :

— Ах, моя весна пропала! Я в неволі! Знаю вже, знаю, чим то воно скінчить ся!

І від тоді я не можу позбути ся сього спомину. Він затроює мені кожду хвилину щастя, розбиває мою силу і відвагу в нещастю. Він мучить мое сумління грижею і мені здаєть ся, що все дурне, безцільне, жорстоке і погане, що я тільки коли зробив у своїм житю, скристалізувало ся в конкретний образ отсього малого, невинно замордованого пташка, щоб тим докучливіше мучити мене. Тихими ночами я чую, як той пташок тихо-тихо стукає дзьобиком о шибу і я прокидаю ся зо сну. А в хвилях тривоги і розпуки, коли лютий біль запускає кігті в мое сорце і грозить ось-ось зломати силу моєї волі, мені здаєть ся, що я сам той маленький, слабосилий, голодний пташок. Я чую, що якась уперта, завзята і нерозумна сила держить мене в жмені, показує мені невловимі привиди свободи і щастя, та може в найближшій хвилі без причини і без ціли скрутити мені голову.



У столярні.

(Із моїх споминів.)

I.

В життю мов у довгій дорозі: що з воза впало, те пропало. А спомини, мов затурбований хозяїн, ідуть по довгих літах тою дорогою і шукають-питають давно загубленого.

Мабуть і сліду вже нема з тої столярні на бориславським тракті в Дрогобичі, де мені довелося пробути перші три роки мого міського життя. То був старий домок у подвірю, відділений від вулиці троха показнійшим але дуже нехарним жидівським домом, та ще одною величезною жидівською халабудою, де містив ся шинок, а від потока смердячою ґарбарнею. Від заходу й полудня до нього припирав невеличкий огород засаджений капустою, буряками та иньшою невибагливою яриною. На подвірю перед домом стояли купи тертиць, верещали купи Жиденят; від вулиці доходив шинковий галас, а від ґарбарні поганий сопух. Усі забудованя були деревляні, в низу

на лоні пригоди.

гнилі, бо місце було вохке. Отсе було те окружене, в якому пройшли перші три роки мого міського життя.

Се була та »станція у Кошицької«, про яку довгі тижні перед тим розмовляли мої родичі, наваживши ся дати мене до школи «до міста». Ся Кошицька, владителька домика з огородом і столярської робітні, доводилась якоюсь своячкою — не знаю, чи могому батькови, чи матери, і мені веліли називати її »цьоцею«. Се була жінка середніх літ, значно поза 30, з слідами деякої краси на пожовклім та поморщенім лиці, незвичайно балакуча, як загалом усі дрогобицькі реміснички. Була Русинка і ходила до церкви, хоча не цурала ся й костела, любуючи ся особливо польськими кантичками, яких велику силу вміла на память і які залюбки співала при роботі.

Кошицькою звали її якось по старій памяті, по першім чоловіці, хоча тоді вона від кількох літ була замужем за Гучинським, значно молодшим від веї, що був колись челядником у її мужа і тоді ще закохав ся в ній. Потім він служив у війську, відбув італійську кампанію 1859 р. і знав оповідати про Венецію, хоча з його оповідань у мене не лишилось у памяті нічого цікавого. Там у Італії він, одержав відомість про смерть свого давнього майстра і про те, що Кошицька повдовіла. Відтам він писав їй горячі любовні листи, які Кошицька ховала в своїй комоді в куточку в коробочці викладаній італійськими мушлями і привезеній мабуть самим таки Гучинським як памятка з Венеції. Раз якось, в часі одної з частих сварок між старшою жінкою й молодшим мужем Кошицька видобула ті листи і веліла мені читати їх. Коли я, ледви сле-

безуючи ті малограмотні вояцькі складання, дійшов до патетичного місця: »Jeżeli cie nie Kocham, abym sobie trzy razy nogę złamał!« — Кошицька втираючи сльози крикнула до свого мужа :

— Ти гадаєш, що Пан Біг уже забув, як ти кляв ся? О, Пан Біг не забув, ні! Зломаєш ти собі ще ногу на гладкій дорозі, я тобі се мовлю!

Загалом Гучинський був хоч добрий робітник, але чоловік нічим незамітний. Для знайомих і сусідів він хоч і був »пан майстер«, а поза очи все лишив ся »чоловіком Кошицької«. Говорили, що вона якось піддурила і приманила його до себе, тай сам Гучинський у своїй обмеженій голові з часом мабуть зупинив ся на тій думці, бо нераз у сварці, парафразуючи звісне патетичне місце свого венецького листа, викрикував :

— *Wolałem sobie trzy razy w jednym miejscu nogę złamać, niż się ze starą babą związać!*

Розмова в столярні звичайно йшла по руськи, хоча челядники бували Русини й Поляки ; тільки Гучинський з жінкою в хвилях інтимних пертракцій говорив по польськи. Не знаю, які бували причини тих, звичайно досить голосних пертракцій, що иноді кінчили ся баталіями, по яких Кошицька день або два лежала в ліжку з головою пообв'язуваною мокрими рушниками. Чи Гучинський, молодий, незвичайно сангвінічний чоловік, давав Кошицькій причину до заздрости, чи сам він був незадоволений тим, що не мав з нею дітей, сього не можу сказати. Здаєть ся, що його дразнило положене молодого мужа при старшій жінці, а може й почуте, що інтелігенцією, досьвідом і енергією вона все таки

держити верх над ним. Говорили, що по шлюбi їм пророковано незгiдливе жите i йому швидшу смерть перед нею. Двi восковi свiчечки, зовсiм однакової довготи й грубости, прилiплено на стiнi над головами молодих, щоб горiли в часi пошлюбного обiду. Одна мала значити його долю, а одна її. Отже кажуть, що полум'я обох свiчечок раз-у-раз вiдвертало ся одно вiд одного в розбiжних напрямках, а нарештi його свiчка згасла, догорiвши ледво до половини. Я певний, що ся ворожба була першим жбихом холодної води на горячi мрiї Гучинського, якого тяга до Кошицької мабуть її вигода й енергiя, а не сама лише холодна спекуляцiя на столярську робiтню полишену Кошицьким i невеличку реальнiсть його вдови. Сам вiн був десь iз захiдної Галичини i не принiс Кошицькiй нiчого, крiм свого червоного лица, горячої кровi, здорових, робучих рук та не зовсiм прийомної привички — напивати ся до п'яна що недiлi. Обое вони свiято вiрили в те, що пошлюбна ворожба мусить сповнитися, i вiд тої-ж першої хвилi свiчки їх життя почали горiти кожда в иньший бiк. Слiди полум'я тих пошлюбних свiчечок ще виднi були на древлянiй стiнi в робiтнi; їх анi не замазували вапном, анi не зiскоблювали: двi чорнi смужки випаленi в древлянiй стiнi, нерiвноi довжини та розбiжних напрямiв, то був дiйсний символ сього недiбраного подружжя.

II.

Була недiля, ранок гарного осiнного дня. Я вийшов на вузьеньке подвiре на затилю «цiоциного» домка — не на те просторе, спiльне подвiре, що лежало перед домом, а на затильне, ма-

леньке, ще бруднійше від переднього, обведене парканом, повне ґарбарського сопуху та смороду з зовсім примітивно уряджених виходків. У віддали на вежі церкви сьвятої Трійці і в польським костелі грали дзвони. Сонце палало ясно на безхмарому небі. В повітрі високо над отим смердючим та брудним гніздом уносила ся якась радість, якийсь празничний настрій. В моїй душі чув ся веселий шум ліса, плюскіт чистої річки, мерехтіли постаті селян у чистеньких білих сорочках і дівчат у червоних спідницях зі скиндячками на головах. Мене щось стисло за серце, мов чорний рак здоровим щипом. Я весь стрепенув ся; по мені пройшло неясне чуте, що той чорний рак, ухопивши мене тепер за серце, не попустить його вже ніколи.

Я зирнув крізь щілину паркана в один бік. За парканом був огород засаджений яриною: ті самі широколисті буряки, худі головки капусти та рідко розкидані бадилля кукурузи, що й перед вікнами столярні. Два-три соняшники обертали просто до мене свої жовті, круглі цвіти, мов худі, від зависти пожовклі лица. Зелений кріп вихапував ся з поміж повзучих огірків. Пузатий, писаристий гарбуз розвалив ся на грядці і грів до сонця свій сорокатий бік. Між капустою пишала ся темно-зелена коноплина, сама одна, широко розгалужена та дорірдлива, заввишки мало що не в хлопа, а завгрубшки в низу як держално коцюби. Я довго і не без подиву спочивав на ній очима: такої коноплини у нас на селі я не видав ніколи.

Далі за грядками йшов невеличкий садок з овочевими деревами. Червоні яблука пишали ся та румяніли ся до сонця; грушки обліпили гиялки великої груші так густо, що листя майже

не було видно за ними. Тоненькі гилячки слив гнули ся під вагою темно-синіх сливок. Правдивий рай для дитячої фантазії! Правдивий, та ба, загороджений високим дощаним парканом, у якому не було ні фіртки, ні перелазу і в якому мені протягом тих трьох літ не довелося бути ані разу.

Як довго я вдивляв ся щілиною в той фантастичний рай — не тямлю. Та певно я й не швидко ще був би відірвав ся від нього, коли-б мене не був сполошив якийсь незвичайний шелест за другим парканом, тим, що відділював подвіре від ґарбарні. Я відірвав очи від щілини, крізь яку видно було огород із садом, і заглянув у иньшу щілину. Там був зовсім відмінний вид. Малесеньке подвіре, з трьох боків обведене низькими, обдряпаними будинками ґарбарні, виглядало радше як огидливий сьмітник, ніж як подвіре. Клапті перегнилої соломи, косми худобячого волося, обструганого зі шкіри, купи ґарбарського вапна та товченого, переквашеного лубу, черепа з горшків та тарелів і одним-одніська дупласта, головата верба, у якої більша часть прутя на голові була вже зовсім зісохла, а на решті теліпало ся рідке, передчасно поживкле листе — ось що складало ся на зовсім непринадний пейзаж. Та не хибло й живої птафажі до нього. Невисокий парубок, Жидок, з довженними, майстерно в спіраль закрученими пейсами, з брудною ярмуркою на коротко стриженій голові, весь брудний і обшарпаний, з ідіотичним виразом на лиці, власне ніс на плечах прегарне красе телятко. Виніс зпоза угла, з якогось невидимого входу, що вів із ґарбарні на се подвіре, і придвигавши на середину сьмітника, гепнув ним на землю. Тільки тепер побачив я, що на тім місці обік сього телятка

лежало ще одно, біленьке з чорною латкою над очима. У обох звязані були всі чотири ніжки до купи; обое вони лежали тихо, безпомічно, не пручали ся, а тільки своїми синіми, мелянхолійними очима гляділи немов у німім остовпіню на сю огидну нору, куди в невідомій цілі придвигав і закинув їх отсей Жидок. Та коли Жидок ізза холяви видобув здоровий, блискучий ніж і почав, ідіотично всьміхаючись, пробувати пальцем його вістре, телята якимось дивним інстинктом зрозуміли, що їм грозить, почали пручати ся і кидати ся, а далі забегетали жалібно обое в один голос.

Жидок не зважав на се. Приступивши до одного телятка, він клякнув одним коліном на його тілі з такою силою, аж здавало ся мені, його реберця захрустіли. Теля від разу замовкло. Жидок узяв його голову, підніс її до гори і закрутив так, що мордочка оперлась о його коліно, а очи на момент зустріли ся з моім поглядом. Потім звільна черкнув ножем по випруженій шийці. Острий ніж входив у тіло, дальше, глубше, поки зпід нього не вибризла рубінова струя крови, мінячи ся до сонця блиском дорогого кришталю. Різник перетявши за одним разом шию теляти до половини, виняв ножа з рани і обтер о голову теляти, яку в тій же хвилі кинув на землю. Теля почало кидати ся, поки горяча кров косицею била з його рани. Жидок дивив ся на ту кров з якоюсь демонською радістю, і знов на його лиці заграв ідіотичний усьміх. Він одною ногою наступив на розрізану шию теляти і придусивши її держав доти, доки кров уся не стекла в гній, а в тілі не стало ніякого руху. Тоді він приняв ся майструвати так само й друге теля, яке за той час лежало німо, мов поражене якимось диким

страхом, лише широко роздуваючи ніздря і нюхаючи незвичайний для нього запах крові. А коли й друге теля було зарізане і Жидок настолочив і його шийку своєю катівською ногою, він немов підтанцьовуючи обернув ся в тій поставі в пів обороту, лицем до мене, і мене мов кропивою опів його погляд, повний якоїсь безмісної, ідіотичної кровожадности, що вбиває з усміхом і виявляє лиш одну нетерплячку, коли жертва надто довго треплеть ся та обривькає свого ката своєю кровю. Я відскочив мов опарений і побіг до хати.

— Тобі що такого? — запитала мене «цьоця», що власне збирала ся йти до церкви.

— Нічого, — відповів я ледви чутно.

— Ти чого так поблід? — допитувала вона.

— Я? — перепитав я і не кажучи нічого більше уткнув лице в свою скриньку, немов випускаючи якусь потрібну мені книжку.

Цьоця не допитувала ся більше і пішла до церкви. А я довго ще плакав, уткнувши ся лицем у отворену скриньку та ніби шукаючи якоїсь книжки. В моїй уяві теленькали срібні дзвіночки, на червоній стяжці позавішувані на шиях таких самих білих та красеньких теляток, пинав ся зелений пастівник, по яким весело скачуть та пасуть ся вони, і чув ся жалібний рик їх материй, що тепер надармо шукають своїх діток. Як би то їх бідна фантазія могла уявити собі той безмір погані, ту обридливу нору, той проклятий сьмітник, на якому їм довелось пролити свою кров під ногою різника-ідіота!

III.

Жите в столярні йшло весело. Для мене, селянського сина, що привик чути вічні побою-

ваня та бачити тривожну увагу на погоду, на хмари, на вітер, на мороз або спеку, на фази місяця, було новиною те рівне, веселе жите міського ремісника, відірване від природи й її примх, розмежоване зовсім иньшими межами, поділене по зовсім иньшій скалі. Що там мороз чи спека, слота чи погода, сівба чи жнива, оранка чи коsoвиця з їх ріжнородними відмінами та пригодами, з тисячними комбінаціями, — те тут переводило ся на далеко простійшу поділку: щотижневий торг у понеділок та роковий ярмарок на святаї Трійці. Ось і все. Поза тим монотонний прилив і відлив приватних замовлень: скрині перед весілями, на придане для молодої, і труни перед похоронами. Скрині й труни, се були головні вироби столярні Гучинського. Тільки десь-колись трапляли ся колиски, прості шафи та мисники й такі-ж ліжка та крісла. Делікатніших меблів не роблено майже ніколи і хоча Гучинський хвалив ся, що »знає ся й на політурі«, то взявши ся раз робити політуровані рамці до образа, таки не вдав і натерши за надто міцно »припалив« політуру і на рамі лишила ся темна, матова пляма.

В робітні були три варстати; працювали звичайно крім майстра два челядники і один термінатор. Челядники міняли ся досить часто і в моїй памяти задержали ся лиша два-три профілі. Поперед усього пан Станіслав, молодий ще чоловік, таки дрогобицький міщанин, що недавно виволовив ся у того таки Гучинського. Був се предобродушний, веселий і все задоволений парубчак, з приемними, хоч троха грубоватими обрисами лица, співучий і жартовливий. Він скінчив був усі чотири нормальні класи у Василян і вмів мені про кожного з моїх учителів Василян

оповісти якусь веселу анекдоту. Один давнійший ректор був скупий, складав гроші і мав звичай зашивати банкноти в ковчезі своїх переносних реверенд. По його смерті знайдено в його шафі кільканацять таких реверенд і роздано їх убогим жебракам. Деякі, не знаючи що робити з тими лахами, попродали їх за пару крейцарів онучкареви, та один, що троха знав ся на кравецтві, захотів зробити собі з неї камізельку, попоров її і знайшов гроші. Не кажучи про се нікому почав розпитувати інших жебраків, куди поділи свої реверенди. Довідавши ся, що вони в онучкаря, він звірив ся одному поліціантові, своєму далекому своякови, вбрав ся сам за Василянину і в супроводі поліціанта наскочив до онучкаревої халабуди, ніби то робити ревізію за покраденими реверендами. Переляканий Жид зараз віддав усі лахмани і рад був, що скараскав ся біди. А жебрак і поліціант повипорювали гроші, поділили ся ними тай забрали ся Бог зна куди. Онучкар, здивавши незабаром потім одного з тих жебраків, почав докоряти йому, що продав йому крадену реверенду, і мало не ввалив його в біду. Жебрак образив ся і потягнув Жида до монастиря, де йому потверджено, що реверенди не були крадені. Жид зо страхом оповів про доконану в нього ревізію, про поліціанта з шаблею і монаха в старій реверенді. Справа набрала серйознішого, таємничого вигляду. Ніякий монах із монастиря на ревізію не ходив; поліціанта, що буцім то був у нього на ревізії, онучкар не міг пізнати, »бо дуже тоді забояв ся«. На тім була би справа й закінчила ся, як би один братчик у старім, пошарпанім требнику, що належав до небіжчика скупаря, не був знайшов за оправою в хребті застромленої картки

паперу, зложеної в трубку і записаної рукою покійника. На ній списані були різними часами всі суми, які вмів прибирати сей скупар-ректор і які по черзі зашивав у кожду реверенду. Було того більше як двацять тисяч. Вість про се рухнула по місті. Така сума в тих часах у такій бідній, глухій містині, як Дрогобич (се було ще геть перед бориславським золотим потоком) видавала ся чимось великим. Онучкар довідавши ся, який скарб він мав у руках протягом мало не двох неділь, і як по дурному дав собі видерти його, з горя повісив ся. Поліція кинула ся пошуквати того, хто робив ревізію в онучкаря, але все було даремне. Лише жебраки віднайшли по кількох літах свого бувшого товариша, що зробив са заможним господарем, мав жінку й дітей, і пізнавши своїх колишніх кумпанів гостив їх пару день та обдаровував щедро. Про реверенди не згадував, а коли питали його, як се стало ся, що він так забогатів, відповів коротко:

— Так мені Бог дав!

А потім помовчавши додав:

— Можу присягнути, що я нікого не вбив, не обрабував, не скривдив. Таке мое щасте було!

Чи вірили жебраки, чи не вірили його словам про те, що він нікого не скривдив, але останнє речене переконало їх вповні: таке було його щасте! Вони не видали свого колишнього товариша, тай зрештою що могли закинути йому?

Такі і тим подібні анекдоти любив оповідати пан Станіслав особливо вечером »по фаяранті«, коли майстер виходив до цехової господи, старший челядник ішов до дому, а майстрова поралась у кухні. Тоді ми три: пан Станіслав, термінатор Ясько і я сідали на лавочці коло печи

або на варстатах і починала ся безконечна розмова. Ті два, міщухи, розпитували мене про село та сільське жите, а я знов розвішував вуха слушаючи їх оповідань, жартів, вигадок та дотепів. Найбільше імпонували мені, недосьвідному ще школяреви, ті чисто школярські штучки та дотепи, яких багато знав пан Станіслав. То подасть мені польське речене, яке можна читати і в зад і в перед, і все вийде те саме: *kobyła ma mały bok*. То напише 12 нуль і з них при помочи дописуваних тут і там крисок зробить речене: *rogoda od boga*. То скаже речене буцім то зовсім польське, а потім показує, що воно зложене з самих німецьких слів: *on bieг bez las, a ja za nim* (*on =ahn', bieг = bieг', bez = bös, las = lass a = auch, ja = ja, za nim = sah'n ihm*). То розповідав, як давнійше Німці перекладали на свою мову назви руських міст: *Перемисьль = Durchdenken, Мостиска = Brückendrücken, Дрогобич = Zweitepeitsche, Самбір = Selbstwald* і т. д. Потім знов сходили ми на язикові штуки в роді того, щоб швидко вимовляти без помилки такі фразу, як: „*Nie pieprz Pietrze wieprza pieprzem, bo przepieprzysz Pietrze wieprza pieprzem*“, або „*Fritz frisst frische Fische, frische Fische frisst Fritz*“, або „*Przeleciały trzy pstre przepierzyce przez trzy piękne kamienie*“. Тяжлю, як я нераз цілими вечерами ломав собі язик виучуючи ті фрази. Зі свого боку я заімпонував пану Станіславу своєю штучкою — вимовити одним духом дванацять раз не помиливши ся фразу: »*Цебер цебер полуцебер переполуцебрив ся*«. Хоч і як мучив ся він і малий Ясько над вивченням сеї фрази, то про те сказати її дванацять разів одним духом без помилки не зумів жаден із них.

Мушу сказати, що пан Станіслав, хоч любив дотепи, не мав у собі ані тїни цинїзму, оповідав усе весело та живо, але ніколи безсоромно, і загалом поводив ся як чоловік поважний. Такий сам поважний, хоч веселий тон панував у столярні в часі роботи, особливо в присутности майстра. Один із старших челядників, здаєть ся, по прозвищу Чемеринський, що називав себе »мебльовим столярем«, любив оповідати давні цехові історії. Про челядника, що замандрувавши відкись хотів стати майстром у одним місті; там веліли йому зробити майстерштїк, а він протягом місяця, замкнувши ся в робітні, зробив чудовий вахляр, а на ньому була викладана барвистими дощечками ціла мука Спасителя в сценах. Про годинникаря, що зробив для свого міста премудрий годинник, із якого за ударом кожної години виходила иньня група ляльок і грала ріжні мелодії. Магістрат маючи у себе такий годинник та боячи ся, щоб майстер не зробив такого самого або ще й ліпшого кому иньшому, прирадив осліпити майстра та годувати його до смерти ласкавим хлібом. Коли йому вибрали очи, він заявив, що його годинник має в собі ще один секрет, якого доси він не вказав нікому; коли-б йому дозволили доторкнути ся машинерії, він пустив би в рух ще й сю останню, найкращу штуку. Магістрат згодив ся, майстра завели до годинника, отворили дверці до механїзму, він віткнув туди два пальці, пошпортав щось — і механїзм станув. Що потім намучились і намудрували ся найріжнійші годинникарі над тим механїзмом, ніхто не вмів ані віднайти, де там було щось поцсоване чи звихнене, ані пустити його на ново в рух.

Чемеринський був підстаркуватий уже чоловік, дуже маломовний. Він мандрував багато, та мабуть і витерпів багато, хоча ніколи не згадував про свої пригоди. В основі його вдачі лежала велика добродушність, навіяна зверху якоюсь строгістю. Коли часом я, забавляючись у столлярні, наробив надто багато шуму, Чемеринський не зупиняючись у роботі обертав на мене свої чорні, навислими бровами отінені очі і промовляв коротко:

Нагулють!
Тихо будь!

Такими ляпідарними віршами любив иноді промовляти. Що значило те початкове »Нагулють«, я так і не довідав ся ніколи. Та тямлю, що коли по кінці курсу, по екзамені я вернув з »премією« — книжкою, яко »перший преміянт«, і показав йому книжку, Чемеринський погладив мене по голові, помовчав довго, а потім якимось радісно зворушеним голосом промовив:

Нагулють!
Здоров будь!

Жартів, сьміху від нього я не чув ніколи. Про те любив він слухати жартливих оповідань пана Станіслава і часом немов припечатував їх ляконічними увагами загального змісту, найчастійше зложеними також до вірша. Тямлю, як раз вислухавши довгу суперечку між майстром і майстровою, з яких кожде закидало другій стороні дурноту, а собі віндікувало розум, Чемеринський порушавши чорими вусами, обернув ся до пана Станіслава і промовив голосно:

Всі на одно йдемо:
Дурнями живемо,

Дурнями й умremo, —
В тiм лише дiло,
Щоб наше дуреньство
Иньшим пiд нiс не смердiло.

По тих словах майстер страшенно почерво-
нiв ся, сварка мiж ним i майстровою урвала ся,
i хоча Чемеринському нi авiн нi вона не сказали
нiчого, то про те за пару недiль його вiдправили.

IV.

Окреме мiсце займає в моїх споминах тер-
мiнатор Ясько Романський. Се був одинокий крiм
мене малолiтнiй у доми i через те мiй природний
товариш. Живий, резолютний, острий на язик,
та за те не надто прудкий до роботи, цинiчний
i без скрупулiв у богатiх таких справах, якi
для мене були »предiль его же не прейдени«,
вiн був тип мiського хлопця, повна супротивлеж-
нiсть того несмiлого та боязливого селяха, яким
був я. Не диво, що вiн перший впроваджував
мене в многi деталi мiської цивiлiзацiї, вчив ме-
не розпiзнавати час на годиннику, розрiзнявати
бите квадрансове вiд годинового, орієнтувати ся
в мiстi, знаходити потрібнi склени, вулицi, май-
стернi, заклади. Пiд його проводом я в недiлi й
свiята по полудни пускав ся на далекi передмi-
стя Дрогобича, де у нього були свояки й знайо-
мi. Иньшим разом, коли треба було сидiти дома,
а роботи не було, вiн учив мене мелодiй поль-
ських колядок та иньших кантичкових пiсень, i
часто сидючи в пустiй столярнi, похиленi над за-
ялозеною старою кантичкою ми що сили викри-
кували звiсний колядковий рефрен :

Hej, hej, jedni grali,
Drudzy tańcowali,
Pasterze na lirze!

Від Яська пізнав я у-перве й ціну гроший. У селі я бачив, як усі дорожили грішми, побивали ся за ними, але який їх практичний пожиток, чим вони можуть бути для чоловіка, се лишало ся мені тайною. Селяни купували за гроші дуже мало: сіль, перець, шкіру на чоботи — значить, річи нічим не принадні для моєї дитячої фантазії. Найбільша часть їх гроший ішла в якусь неясну для мене безодню, що звала ся »штайрантом«, що то про неї селяни говорили все з якимось острахом, так що й я привик бачити в ній щось страшне та нелюдяне. І коли в селі мені трафляло ся часом мати кілька крейцарів — звичайно заможнійші гості дарують господаревим дітям по крейцару або два »на обарінок« — то я не знав, що робити з ними, і побавившись або губив їх, або віддавав мамі. Тут у-перве я пізнав вартість гроший як жерела ріжних приемностей. Ясько вчив мене промінювати гроші на цукерки, яблока, горіхи, оповідав про ріжні способи, як у місті зароблять ю і пускають гроші, характеризував заробітки жебраків, водоносів, шматярів та кістярів, перекупок, садівників і ріжних категорій того дрібного зарібного людю, що заселявав промислову частину Дрогобича, розложену довкола б ориславського та трускавецького тракту, Солоного Ставка та жупи. Тут не було ані просторих садів, ані огородів засаджених цибулею, капустою, бараболею та огірками, що творять головне жерело доходу на Лішнянським, Задвірнім та Зварицьким передмістях. Тамошніх людей, на пів рільників, а на пів міщан,

тутешні ремесники підіймали на сьміх, називали цибулярами, передразнювали їх м'який виговір:

— Цоловіце, цоловіце, мозе купите цибулецьки!

Під Яськовим проводом я заходив у тісні хати тих ремесників та зарібників. У мене була знайома флячниця Якубова, що заробляла на хліб продаючи що понеділка горячі фляки на ринку, на підсіню. У неї був чоловік, якийсь ремесник, що рідко бував дома, але й тут було таке саме, як із моєю »цьоцею«: хоча Якубова була мала та непоказна жіночка, то в хаті очевидно був її верх, і в цілім сусідстві всі знали Якубову, а її чоловіка коли й згадував хто, то хиба як »чоловіка Якубової«. І загалом мушу сказати, що проживши вісім літ між дрогобицькими ремесниками та придививши ся їх життю зблизька, я виніс вражінє, що жінки в тих родинах займають коли не верховодне, то бодай рівнорядне становище з чоловіками, визначають ся інтелігенцією й енергією, а наді все вертким та невтомленим язиком. Ні перед тим, ні по тім у моім життю я не чув, щоб хтось говорив по руськи так швидко, як деякі дрогобицькі передміщанки. Отся їх духова перевага над мужами пливе мабуть із того, що мужі — ремесники, змушені спеціалізувати ся на одній, механічній, звичайно посидючій роботі, а корпаючи над нею день у день, тиждень за тижнем і рік за роком, тратять елястичність духа, енергію й оборотність; натомісь жінки, на яких плечі спадає і хатне господарство і захід коло дітий і праця в огородци, а часто й переговори з партіями, що приходять за роботою, або продаж готового товару на торговиці, власне набирають тих прикмет, що роблять їх верховіцями в домі.

Ясько вчив мене також міських забав, яких не знають сільські діти: гри в пилку, в кічку, пускати орла, ловити воробців, на самотрісок. Правда, до тих забав я не був охочий, за те тим більше вдячний я був йому, що в осени що неділі водив мене в околиці Дрогобича, на Гірку, на ріку та на поля, де ми збирали достиглий та першим морозом приварений терен, який потім у столярні пекли й їли. Майстер Гучинський віднайшов у однім березі шерсткий та м'який пісковець, що служив йому замість пумексу при глаженю дощок, і нераз посилав нас обох із Яськом по свіжий запас такого каменя. Іноді ми заходили в ліс і знаходили гриби; тут я був Яськовим учителем, вмючи ще з малечку від батька розпізнавати різні роди грибів добрих і »шалених«. Ми збирали насіння різних трав для канарків та циглів, яких майстер любив держати в клітках, або ходили з мішком по великі лісові мурашки, які »цьоця« варила на купіль для себе, бо вже тоді терпіла на ревматизм у ногах, проживши звиш двадцять літ у вохкій хаті на болотнистому місці. Пізнійша осінь доставляла мені з Яськом иньших розривок на подвірю. З огорода викопували ярину, квасили капусту та огірки, на подвірю клали огонь, варили повила зі сливок, а в сінех у иньшій кітлі варили карук із волових жил та з відпадків товаричої шкіри. Все се були роботи, яких я ніколи не видав у селі, і все те нове та цікаве для мене вмів Ясько вияснити та робити ще цікавішими своїми оповіданнями та дотепами.

Батько Яськів жив неподалеку від нас, мав свою хату й огород, а крім того ходив на заробок до »великої фабрики« — рафінерії нафти та земного воску, що власне тоді була недавно збу-

дована за Дрогобичем, на бориславським тракті над рікою. При якійсь експлозії йому попарило руки й ноги і ми оба з Яськом що неділі, відвідували його в шпиталю, — се були перші мої відвідини в тім домі болю та карболю. Старий Романський був письменний чоловік; у тім маленькім сьвітї, що групував ся довкола дому »цьоці« Кошицької, він був одною з яснійших зізд, уважав ся чоловіком розумним і досьвідним. Я пригадую собі досп його страшні рани, які я бачив у шпиталю, коли їх перевивано, і чорну табличку над його головою з написом »Grandwunden«, і великий молитвослов, що лежав обік нього, і його пожовкле, мученицьке лице, що не зраджувало болю, тільки якийсь безмежний смуток...

Якось швидко потім, не дожидаючи батькового видужаня, Ясько покинув столярню Гучинського. Майстер був незадоволений із нього, і хоча він витермінував уже чотири роки, не хотів його визволити. Ясько втік із столярні, покинув рідний дім, узявши з собою лише дещо з одежі та два ринські грішми, і пустив ся з тим засобом до Львова. Львів у моїй фантазії лежав десь у мітичній далечині. Зелізниці ще тоді не було, фірою треба було їхати туди дві чи три добі, а пішки йти — я й не знав як довго. Я дивував ся Яськовій сьмілості, що він сам, без гроший і без ніякої виразної мети пустив ся в таку далеку дорогу. Перший лист його до матери, що по кількох днях трівожної непевности та пошукувань дав їй наренпті певність, що стало ся з її сином, зробив не малу сензацію в столярні. Його відчитав сам майстер на голос і обчислював з памяти, якою дорогою і як далеко зайшов Ясько першого дня, в яким селі купив собі квасного молока з хлібом, у якій коршмі ночував. Більше

відомостей від нього не доходило до мене. Куди подів ся він у Львові і що стало ся з ним, я ніколи не довідав ся. Він згубив ся для мене безслідно, як річ, що впаде з воза підчас скорої їзди.

V.

Кожної п'ятниці і суботи був час артистичного попису »цьоці« Кошицької, час мальованя скринь. Сю часть роботи вона найчастійше брала на себе; її малюнки визначали ся нечувано сорокатим добром фарб і дивовижними контурами цвітів. Що правда, і одно й друге не виходило з утертого з давен-давна шаблону, але цьоця любила при мальованю давати волю руці і підмінювати фарби. Замість бурякового обрамованя дасть сине; простолінійне бадиле ростины замість білого зробить зелене, листочки фантастичної »ружі« розмалює замість у три колісця — в чотири: внутрішнє колісце цинобром, середнє зеленим, потім жовтий або синім, нарешті білим, — листя не було ніякого. Що найбільше, по рогах малюнка умістить іще по одній »ружі« з листочками в три колісця. Малюючи ходить довкола скрині, окидає зором знавця всю малятуру, візьме раз горщик із зеленою фарбою, то знов із синьою, червоною, жовтою, білою, і тут підведе, там ободець зробить, там проведе лінію, доки цілість вновні не задовольить її невибагливого смаку. І при тім із її уст ненастанно пливають набожні пісні, в суміш польські й руські. Ось вона викінчує престрашенну »ружу«, якої рисунок і коліри могли-б здивувати й найдикійшого дикаря, і при тім її голос виводить:

Ах, тяжка страта!
Пекельні врата
Отворять ся широко.
А ви грішніі
І проклятіі
Ідїть в пропасть глибоко!

За хвилю вже її рука, узброєна квачиком із зеленою фарбою, робить по червоному викрутаси подібні до жидівських спірально звинених пейсів, а з її уст пливе далеко гуманнійша течія слів і тонів:

A ty pani dworko,
Kluczyki na kolku — hej nam hej!
 Kołąda, kołąda, kołąda!
Każ wódki dolewać,
Będziem dobrze spiewać — hej nam hej!
 Kołąda, kołąda, kołąda!

Я зразу дивив ся з великою набожністю на ті »цьоцині« артистичні вправи, подивляв її штуку й смак і любував ся довершеними творами. Мене найбільше радували ті місця, де були більші хляпи якої будь чистої краски, головно цинобру та синьої фарби. Бляйвайсу я не любив, жовта фарба була мені ненависна і я страшенно здивував ся, коли Ясько показав мені у-перве, як із мішанини жовтої фарби з синьою повстає зелена. Ясько мав собі приділену функцію — розтирати фарби на кам'яних плитах, мішати їх і складати готові до відповідних горщиків. Розтиране бляйвайсу та жовтої охри було найтруднійше, і тут Ясько радо приймав мою поміч: оба ми в чотири руки хапали кам'яний товкач і доти водили ним з притиском по плиті, доки під гладким каменем чути було хоч одно зернятко нерозтовченої та нерозмеленої фарби. Всі фарби розводили ся водою з каруком; але бували випадки, що нам прихо-

дило ся приготовлювати й олійну фарбу. Дорожні скрині, шафи та ліжка малювали ся олійною фарбою — і то виключно зеленою. Сей звичай мусів бути досить старий, коли образ »зеленого ліжка« вийшов навіть у пісню. Ясько любив співати сю пісню: чи то варячи в зелізім горщику коніпний олій на покост і мішаючи його ненастанно зелізноу лопаткою, чи розтираючи зелену фарбу, змішану вже з жовтої й синьої, він прижмурюючи очи мов півень виводив:

A w ty nowy komorze
Stoi zielone łoże:
Ej łoże, łoże, śliczne, zielone,
Ktoż na tobie będzie spał?

Взагалі столярня дуже часто лунала піснями. Особливо всяка стичність з фарбами та пензлями якось сама собою викликала пісні на уста. Тільки майстер Гучинський не співав ніколи. За те я, навчивши ся швидко всіх пісень популярних у столярні, допомагав своїм пискливим голосом кождому, а на третім році свого побуту в столярні дійшов до того, що міг помагати »цьоці« також при мальованю скринь. З якою радістю ходив я з пензлем довкола скрині, держав у руці глечика з фарбою! З якими гордощами мазюкав я на взір цьоциних такі »ружі«, що аж сама цьоця брала ся за голову, а челядники прибїгали від варстату, оглядали мої малятури і аж лягали зо сьміху! А про те скрині з моїми малятурами мали пасте: задля незвичайних мальовил їх купували радше і я готов був стати ся повагою в фаху мальованя скринь, як би доля не призначила мене до иньшого мазюканя. Чоловік а postępiogi, оглядаючи круті шляхи та дивовижні сер-

пентини свого життя, знехотя починає по троха хилити ся до фаталізму.

Діла Гучинських ішли добре. На скрині був такий попит, що в деяких порах при кінці тижня готовими скринями заповнювано майже всю столлярню. В таких разях мені стелили спати в такій скрині, а що в столлярні йшла робота иноді до пізної ночі, то я рано прокидав ся немов у глибокій криниці: на мою скриню поклали другу, на неї третю і так аж під саму стелю. Аж коли я прокинувши ся починав кукати, купу розбїрали і я вилїзав із того сховка на сьвіт. Бували й такі часи, що мені доводило ся спати в сьвіжих домовинах, коли в столлярні їх роблено більше, а задля браку місця їх не було де класти, як тільки на моїм тапчані: тоді домовину клали на тапчан, а мені стелили в ній і я спав преспокійно, антиципуючи вічний сон її властивого хозіяна. Та моя мати, довідавши ся про се, запротестувала проти того і мені перестали стелити в домовинах; цьоця, здаєть ся, звиняла ся навіть, що вона нічого не знає про се і що Ясько кілька разів стелив мені в домовинах на жарт.

На третім році могого побуту у Гучинських вони зачали будувати свій власний деревляний дім при одній із сусїдніх вулиць. Моя цікавість мала тут знов широке поле придивляти ся праці теслів і тисячним сценам будованя в місті, починаючи від тої, як Гучинський і цьоця одного вечера прийшли з міста значно підхмелені і придивгали чималий мішок гроший. З їх розмови я довідав ся, що се вони затягли в столлярськїм цеху позичку — мабуть 120 рпських, на ті часи показну суму — і цехова каса виплатила їм ту позичку самими мідяками, так що вони мусїли брати грони в мішок, мішок на палицю, а палицю

за оба кінці обоє на плечі і нести їх так, як ті старозавітні жидівські оглядачі Палестини несли в табор Ісуса Навина вкрадений десь по дорозі здоровенний кетях винограду. В цеху з нагоди сеї позички був не малий »трактамент« і наші майстер з майстровою забарили ся до пізна; ніч була темна, дорога болотяна, мішок із грішми важкий, а ноги в обох пегверді — от і не диво, що обоє прийшли до дому заталапані, змучені і сердиті одно на одного, і празничний день закінчив ся сутою сваркою, в якій майстрова побажала майстрови, щоб уже раз виповнив свою обіцянку і зломив собі на трое не одну, але обі ноги і голову в додатку, а майстер в браку сильнішого аргументу вхопив здоровий бляшаний друшляк і так делікатно насадив його цюці Кошницькій на голову, що вона опинила ся мов у старім рицарськім шоломі з замкненим візіром, а краї друшляка щільно окрутились їй довкола шиї. Ми оба з Яськом мали потім не мало роботи, поки розігнули бляху на стілько, що могли зняти з цюциної голови сей імпровізований і зовсім неvigідний шолом. Цюця після того памятного вечера лежала два дни в ліжку, а третього дня вставши до мальованя скринь, з якоюсь пасією раз-у-раз виспівувала ту строфу польської колядки, де згадувалось імя майстра — Войтїх, і за кожним разом махала грізно квачем у його бік, співаючи:

Bieg Wojtek bez portek po śniegu, po grudzie:
Śmieją się, cieszą się: cha-cha-cha-cha ludzie!

А майстер мовчки робив при варстаті і при кожнім таким натяку червонів ся мов бурак.

VI.

Скінчивши так звану нормальну школу у Василян я перейшов на иньшу станцію і цюця Кошицька з її столярнею щезла з обрїя мого жита. Тільки геть пізнійше, вже будши на університетї, я довідав ся про сумне закінчене її домашньої драми.

Пошлюбні сьвічки віщували їй правду, та далеко не всю. Вона пережила свого значно молодшого чоловіка, а третій завів її до гробу; сей третій, то був ревматизм. Гучинський надто вмираючи лишив їй памятку по собі: він поручив ся в якійсь касї за значнійшу позичку, затягнув якусь його знайомим; сей знайомий не заплатив позички, і швидко по смерти Гучинського каса зліцітувала новий дїм його вдови і викинула її, стару, немичну і розбиту паралїжем, на вулицю. Хороба відняла їй ноги і вона не могла навіть ходити за жебраним хлїбом, а мусїла повзати на руках, волочучи немичні ноги за собою. В такім станї вона проводила дні під церквою сьв. Трійці або під польським костелом. Сидїла мовчки, не просячи, не благаючи милостинї і якось знехотя простягаючи руку, коли хто з її давніх знайомих подавав їй пару центів. Зівяла, зжовкла, лице покрите зморщками, пальці покорчені та повикручені ревматизмом, тільки в очах сьвітлив ся розум і енергія, але їх сьвітло було притемнене хмарою глибокого смутку, тою самою хмарою, якої крило я у-перве бачив на мученицькїм лицї попареного на фабрицї Романського. Скільки то сьвітлих та енергічних очий затемнює та хмара по наших місточках!

Поєдинок.

(Зимова казка).

Zwei Seelen leben,
ach, in meiner Brust.

J. W. v. Goethe.

Битва була в самім розпалі. Гармати ревіли мов люті звірі, кидаючи з своїх гирл тяжкі, смертоносні кулі. Ракети лускали високо під хмарами, розсипаючи ся градом кровавих искор. Уся широка кітловина стогнала, кричала, гриміла та палала, мов одно пекло. Сонце зайшло, а сумерки налягаючи на землю робили весь той образ знищення, різанини і смерти ще страшнійшим.

В тім огнистім, пекольному вирі, де пільма міншала ся з різкими огняними язиками, де смерть являла ся у всіх можливих видах, де кров людська димила ся і бурхала потоками, а тисячі сильних, здорових і румяних парубків ішли по трупах товаришів на зустріч неминучій погибелі, в тій безодні знищення й жаху дух людський завмирав, думка губила ся мов порошинка в полі, — чоловік ставав ся бездушною машиною, живим дере́вом, яке нічого не знаючи, нічого не тямлячи,

Йде куди йому кажуть, робить що йому кажуть, і паде, де його постигне неминуча загибель.

У таким самим безтямнім стані був і я ось уже пів години. Від коли наш капітан крикнув нам: Марш! — від коли довкола засвистали кулі, затріщали гранати, залунали зойки ранених, задимилося поле від вистрілів, від тої хвилі я стратив силу приймати вражія, стався машиною. Я знав тільки одно, що наша ціль були ті горючі хати недалекого села, відки сипався на нас густий град ворожих куль.

Ні, я не можу сказати, що знав се! Тільки пожежа, що роздирала тисячами огняних мечів густі сумерки і ще густійші клуби диму, — ота пожежа тягла мене і всіх моїх товаришів до себе, так як огонь ламп тягне до себе нічні нетлі.

Ми йшли мовчки, топтали по трупах мовчки, бродили в крові мовчки: тільки коли часом сей або той трафлений кулею повалився на землю, виривався з його грудий роздираючий крик. Але лише на хвилю! Він зараз затихав під ногами дальших рядів, що мов сліпа лявіна перевалювалися через нього.

— Бігом до штурму! Марш! — загримів за нами голос капітана.

Той голос, захриплий але різкий ухопив нас, бачилось, у могутні кіхті і кинув нами наперед, мов важким каменем. Що діялось зо мною кілька минут по тім розказі — не знаю. В моїй уяві миготять безладно перемішані блиски пожежі, блиски багнетів, гашені горячою кровю, гуркіт вистрілів, зойк, проклятя, стогналия конаючих, і глибокі, страшенні рани в покорченних, живих тілах людських, освічені вибухами полумя. Я отямився аж серед села, серед моря искор, мов-

муром обведений довкола чорними стовбурами диму, на якімось вільнім місці, мов на вигоні.

Я був сам. Я став, відітхнув важко, озирнувся довкола і знов відітхнув. Після страшеного зворушення я не міг іще прийти до себе, не знав, де я, що зо мною дієть ся й відки я тут узяв ся.

По хвилі моя притомність зачала вертати ся. Перше чуте, яке пригадало мені, що я жию, був глухий, пекучий біль у грудях. Що се? Чи я ранений? Переконую ся, що ні, — але біль проте не перестає. Довгої хвилі треба було, поки я міг переконатися, що се болить мое серце.

Але чоґож воно болить? Хиба я винен тій страшній руїні? Хиба я можу спинити її? Хиба я міг оперти ся всемогучій силі, що пхнула мене самого враз із тисячами інших в отсю пекольную долину на кровавий танець? Хиба я можу чародійським словом загоїти всі рани, спинити всю кров, згасити всі пожежі?...

Довкола мене гриміло, ревло, клекотіло, мов у кітлі. Битва тревала дальше, але покотила ся огняною лявіною в инший бік. Довкола мене широким замкнутим кругом клубили ся стовбурі диму, тріщало горюче делине будинків, гуділа велика пожежа. Я стояв у тім огнянім крузі без виходу. Розпалене повітре лило ся мов горюче олово в мої груди, дух мені захапувало, кров біла в жилах молотами, страшенна спрага давила мене за горло, сьвіт зачав колихати ся і крутити ся в моїх очах...

Нараз дихнула в мої груди хвиля холодного, оживляючого повітря, я випростував ся і побачив перед собою — себе самого. Смертельна трівога проняла мене до кости, розбурхана кров ледом стяла ся і на хвилю мабуть зовсім перестала бити ся. Мов причаровані впили ся мої очі в

дивну появу, що німо, з грізним, від пожежі паленіючим лицем стояла передо мною.

— Хто ти? — ледво прошептав я, важко переводячи дух.

— Я Мирон, — відповіла сьміло й твердо поява.

Так, се справді був Мирон! се справді був я, такий сам, як колись у найкращі, найсьвятійші дні моєї молодости! В гордй, сьмілій поставі, в блискучій зброї стояв мій власний образ передо мною, мірячи мене строгим, грізним оком судії, який бачить перед собою затверділого і непоправного злочинця. Від того погляду мої груди стискали ся, вся моя істота тремтіла, мов лист від осіннього вітру. Ох, я чув, неясно, але все таки чув, що не вийду чистим із сього острого суду.

Але в хвилі, коли мої розтрівожені думки вспіли зібрати ся і впорядкувати ся, відізвала ся в моїй груді сильним голосом любов себе самого і заглушила тривогу.

— Як се ти кажеш, що ти Мирон, — заговорив я, не зводячи з нього очий, — коли я Мирон!

— Ти? — відповів мій двійник коротко, з виразом безперечної погорди. Се одно коротеньке слово дивної появи мов молотом ударило мене в тімя. Я знов почув глухий, пекучий біль у грудях і довго не міг зловити стілько повітря, щоб промовити слово.

— Коли ти Мирон, — сказав я в кінці, — то хтож я такий? Аджеж оба ми не можемо бути одною особою.

— Не можемо, певно що не можемо! — potwierдив він із згірдною усьмішкою.

— То хтож я такий, коли ти Мирон?

— Ти? Хто ти такий? Вітрова мара, привид моєї розгоряченої фантазії, ніщо!

— Я... ніщо? — крикнув я, добуваючи остатніх сил. — Я привид? Я — мара? Алеж у мене тіло і кість і кров! Алеж я рушаюсь і ходжу незалежно від тебе! Алеж я був тут перед тобою!

Дивний привид грізно наморщив брови.

— Нужденна маро! — скрикнув він, — брехлива появо, плоде сумерку і тривоги, — і ти сьмієш іще суперечати ся зо мною? Сьмієш про-
стягати свої злудні руки проти мене, правдивої дійсної дійсности? Ну, чим, — скажи мені, чим ти докажеш, що ти Мирон, а не я?

Я стояв мов поражений громом. Думка моя була мов одеревіла, — я не міг знайти ніякого доказу.

— Ну, скажи мені, які твої діла, які твої змаганя? Куди йдеш? Чого хочеш? За що бореш ся?

— Я охороняю порядок, роблю порядок, хочю порядку, борюсь за порядок — пробубонїв я, але чув, що сили мої щезають, немов хто половину серця вирвав мені з груди, половину життя виссав із тіла.

— Нужденний привиде! — загуло громове слово мого страшного судії, — і ти говорини, що ти Мирон? Отже знай, що Мирон той твій порядок уважає панованем підлоти над чеснотою, а твої діла — служенем тиранії, а твою боротьбу — кровавим злочином! Щезай геть! Ти не Мирон!

— Але чим же ти докажеш, що ти Мирон? — прошептав я.

— Коли докажу, що ти мара, привид, ніщо. Я зложив уста до насьмішки.

— Не віриш іще? Переконай ся! Ану, поборімо ся! Коли ти дійсний Мирон, а я привид, то я щезну від твого вистрілу, — а коли я дійсний Мирон, то ти щезнеш. Аджеж привид чень не переможе дійсности. Стріляй!

Я прицілив ся, гуркнув вистріл, і зареготав ся мій страшний противник.

— Маро нужденна! — сказав він, — щезай же від моєї кулі!

Блиснув його карабін, — і мов громом ражений я покотив ся між трупи.



Поки рушить поїзд.

— Черепаха їде!

Льокомотива «Черепаха» ще спала. Спочиваючи на трьох парах масивних сталевих коліс вона бовваніла в ряді інших машин, потонувши долішньою половиною свого тіла в густій п'єтмі, що залягала простору шопу. Тільки горішня часть шопи легесенько розвиднювала ся. Крізь грубе, ровковане, зеленковате скло, з якого був зроблений дах шопи, просочували ся перші хвилі літнього досьвітка, ті слабенькі, синьо-рожеві, напівсонні ще усміхи природи. До шопи вони доходили в десятеро слабше, ледво помітно, сіро-зеленковатими проблісками. В тих проблісках лійковатий грубий комин машини і її кремезний круглий хребет зарисовували ся серед темряви якимись фантастичними контурами.

— Черепаха їде! — крикнув голосно надкондуктор, проходячи поуз шопи, та так, аби його почули робітники, що спали тут же побіч. І вони почули його. В комірці, що служила їм спальнею, зчинила ся метушня, почули ся заспані голоси, гуркіт стільців, протяглі позівання, плюскіт води,

котрою робітники промивали заспані лица, і по якімось часі два чоловіки в робітницьких блюзах відімкнули широчезну браму шопи і ввійшли до середини.

— Ну, стара, спиш? — мовив один, клеплючи »Черепаху« по залізнім животі. — Ану-но, покажи ся, як ти виглядаєш!

Крізь відчинену браму бухнула до шопи широка хвиля світла — не того різкого, соняшного, бо сонце ще не зійшло, а того лагідного, поранкового, що плило просто з безмірної синяви неба, з рожевих румянців і золотих проблесків сходу, від блілого місяця, що запізнившись ся на серед неба немов не знав, що робити з собою, чи сховати ся де, чи світити, чи загаснути. При тім світлі видно ся було в шопі досить добре і робітники почали порати ся біля »Черепахи«. Вони чистили її, підмазували колеса, вигрібали попіл із паленища, наповнювали водою котел. Рівночасно два палячі з гуркотом накидували в тендер камяного вугля, перекидаючи ся якимись не дуже приязними словами. Ось надійшов і машиніст і почав щось порати ся коло машинерії, тут підмазуючи оливою, там стукаючи невеличким молотком, там знов відчиняючи і замикаючи якусь кляпу.

Але »Черепаха« стояла холодна, нечутлива, мов заклята царівна в скляній труні. Крізь скляний дах її труни заглядав чим раз цікавіше молодий день; його зеленкуваті, скляні очі почали звільна наливати ся зразу сріблястим, далі золото-рожевим блиском. Крім шелесту щіток, котрими чищено машину, брязкоту залізних лопат і гуркоту вугля в тендері не було чути нічого. Робітники робили своє діло мовчки; один паляч покинув роботу коло вугля і пішов до дому сні-

дати: йому прийдець ся їхати сьогодні з »Черепашою« в дорогу.. Машиніст позівав. Була пята година; він спав ледво чотири години і мав перед собою ще отсю пятигодинну туру, поки дістане ся до дому і буде міг відпочити цілих дванацять годин.

Машина ще спала.

— А що, буде готова »Черепаша«? — крикнув надкондуктор, вертаючи зі свого обходу і зупиняючи ся в брамі.. Його груба, висока фігура ясно відрисувала ся на тлі сходового неба, облитого величезною дурпуровою пожежею з золотим, тепер уже аж до білоти розжареним низом. В тім сьвітлі кругле, товсте надкондукторове лице виглядало мов налите вогнем, а його чорна, густа борода була немов черетикана пурпуровими нитками.

Робітники не відповідали нічого. Обчистивши і впоравши машину, вони помагали накидати вугля в тендер. Тільки машиніст буркнув недбало:

— Зараз буде готова.

— Прощу казати розпалювати. За чверть години заїжджайте! — мовив надкондуктор і пішов далі.

Паляч від »Черепаша«, згорбивши ся мов від, коли його впрягають у ярмо, подав ся на своє місце, східцями між машиною і тендером, і випростувавши ся на хвилю шез нараз. Зігнувши ся він потонув у темнім гирлі паленища і почав розкладати огонь. Зразу він поклав і підпалив кілька дрібних соснових полін, а потім, коли ті горіли, почав обкладати ту ватру з боків і з верха вуглями. Дим синявими клубками вив ся з ватри, протливо залітав палячеви в червоні, кровю підбігли очі, але сей не противив ся, робив своє.

привик до того. Швидко в паленищу гудів і тріщав уже чималий огонь; куна вугля, накладена паячем, завалила ся жевріючи та тріскаючи. Її привалювали щораз нові вугляні брили. Дзвеніла залізна шуфля накидаючи їх у огоньце, але в кітлі було ще тихо.

Машина ще спала.

Та ось у кітлі почуло ся легеньке булькотанє, мов несмілий ропіт якогось нового, ще слабого і несвідомого життя. Ось легкою струйкою понесли ся з труби перші клубки білої пари, понесли ся і зараз перестали, спинені вмілою рукою машиніста. Гов, дітоньки! Не туди вам дорога! Будьте ласкаві он туди, у той толок, у той порожній вал! Сьміло! Сьміло! Самі собі відчиняйте дверці! Не ждїть, дітоньки, аж вам хтось відчинить. І не бійте ся, що там троха тісно. Тільки сьміло! Тільки далі! Потїснїть ся троха, бо в тій тісноті ваша сила. Тільки там ви пізнаєте, хто ви і що можете!

»Черепаха« дрогнула. Щось мов важке зітханє стрепенуло ся в її залізному нутрі.

— Ах, якже я смачно спала!

Вона прокинула ся. Вже в паленищу огонь гуде. Вже в кітлі вода починає грати мов у величезнім самоварі, зразу довгими, пискливими тонами, далі жалібно, мов просячи ся на волю, далі уривано, грізно, мов сварячи ся і грозячи, а ще далі люто клекотячи, булькочучи, ревучи та виючи. Та машиніст не дбає. Він радий тим проявам сили, він знає, що вони мусять ще побільшати, геть значно, значно побільшати.

— Е, небого »Черепахо«, не так ти ще у мене засьпіваш! Ану, Максиме, піддавай жару!

Паяч Максим працює не овиваючи ся. Дзвенить шуфля, гуркочуть брили камяного вугля.

котячись у паленище, кровю налило ся Максимове лице, піт котить ся градом із його закоптілого чола. Гуде огонь, грає котел. Ось рушив ся телок, а на версі машини манометр зробив перший оборот. Машиніст ухопив за стерно. Почув ся довгий свист. »Черепаха« рушила з місця.

Рушила і немов завагала ся. Її рух був лінивий, і зараз же з бокових її вентилів бухнула пара сичачи страшенно. Але машиніст держав її в руках. Випустивши пару, кільки йому треба, він клацнув маленькою ручкою і замкнув кляпи. Сей маленький, невинний рух машиніста був немов удар незримого батога для сього величезного залізного коня. Вона стрепенула ся, фукнула раз, потім другий, третій, а далі фукаючи частійше, частійше, частійше, вийшла з шопи. Ціле її тіло, а особливо її мідяні та мосяжні прищіпки, гачки, кляпи, пруби — все те заблищало на сонці, заіскрило ся. Гордо та пишно сунула ся »Черепаха« по шинах, не кваплячись, поки не стала на своїм місці.

— Пришибувати отих пять тягарових вагонів! — крикнув надкондуктор. »Черепаха« рушила. Се починала ся вже її робота. Вона свиснула скажено, зашипіла мов тисяча лютих гадюк, затемнила сонце на хвилю клубами пари і бовдурями диму, — бачилось, страх не рада була йти до такої низької роботи, як шибоване вагонів тай то ще тягарових. Та дарма, мусіла.

Ось уже вагони пришибовані, поїзд, що має йти з »Черепахою«, уставлений і вона гордо стоїть на його чолі. Забрязчав перший дзвінок. Один робітник бігає з вагону до вагону змітаючи та роблячи порядок у нутрі; другий залізною вилкою напинає на поїзд ливу безпеченства, вкладаючи її в гачки на кождім вагоні; третій порав-

еть ся коло коліс, підливає оливи на осі; иньший іде верхом по вагонах і наливає керосину до лямпи. Кондуктори лїниво похожають побіля вагонів. Публика стягаєть ся помалу.

»Черепаха« стоїть і жде. Здалека подумав би хто, що вона нічим не відмінна супроти тої »Черепахи«, що перед годиною спала отам у шопі. Та підійдіть до неї ближше! Вона вся аж папить таємним огнем. У її нутрі вже не булькоче, не сичить, не клекотить, — вона вся, всіма своїми частинами грає, бренить, мов муха зловлена в павутину. Манометр літає мов шалений. Машинїст держить за стерно, готов кождої хвилі пустити в рух сю величезну, сконцентровану, скажену та при тїм вповні опановану силу. Обернена чолом до сходу »Черепаха« глядить своїми скляними, підслїпуватими очима на безконечну, рівну дорогу. Вона без руху, але бачучи, як скажено беть ся її металевий пульс-манометр, як люто вищить її нутро, так і боїш ся, що ось-ось вона зірветь ся з місця, скочить мов дикий зьвір і побіжить, пожене в безвісти.

— Від'їзд! — крикнув кондуктор із заду поїзду.

— Від'їзд — крикнув другий.

— Трарара! — заграла трубка надкондуктора.

Машинїст торкнув »Черепаху«. Свист — аж у вухах заляцало. Шипіне — аж боки машини мов надули ся з натуги. А потім фу! фу! фу-фу! фу-фу! фу-фу-фу-фу!

І пішло фуканє часто, частїйше, ще частїйше, поки його не заглушив гуркіт поїзду, стук коліс о шини, брязкіт ланцюхів і якорів, уся ота кольосальна, дика та могутна музика поїзду що входить у рух.

А »Черепаха« на чолі поїзду не йде, а пливе, бренть, фукає, робить боками, тремтить, сипле іскри, бухає димом і парю, мов жде, не дідеться тої хвилі, коли буде могли вповні розігнати ся, розбігти ся, показати свою силу. Ану, просторе, тепер ми поміряємо ся. А гей, дорого, — під ноги мені! Ану, кільметри, назад, назад поза мене, десятками, сотками! Живо, живо, бо »Черепаха« їде! Далі, »Черепаха«! Наперед, усе наперед!



Сойчине крило.

Із записок відлюдка.

Завтра новий рік і заразом сорокові роковини моїх уродин. Подвійний празник. А бодай подвійний пам'ятковий день. І я надумав стрітати його незвичайно, празнично.

Ха, ха, ха! Празнично! Що таке празничне стрічане нового року? Шумне товариство, молоді жіночі голоси мов срібні дзвоники. Старші панове гудуть мов дуби в теплому вітрі. Сьвітло сальону. Звуки фортепяна. Хор, пісні, соля... Деклямація, брава, оплески. Жарти. »Кришталева чаша, срібная криш«... Наближаєть ся північ. Починає бити дванацята. Всі підносять чарки, вихиляють душком, а батько родини видає свою до долу. Нехай так пропадає всяка турбота! Бреннь! І раптом гаснуть сьвітла. Всі запирають у собі дух. Бам... бам... бам... Числять до дванацяти. Най жие новий рік! Най сьєе нове щасте! Сьвітла! Музика. Пісні. Нові чарки, нові тости. Поцілуї. Радість і стиски рук... Діти, діти!

Та що балакати! І я там був, мід вино пив. І я колись стрічав отак сю vroчисту хвилю,

сміявся і радувався на зустріч тій примані, що зветься новим роком. І до мене простягалися теплі руки, сміялися блискучі очі, шептали солодкі слова не одні малинові уста. І я вірив, мріяв, любив. Тонував душею в рожевім тумані, будовав золоті замки на вітрі, вважав окрасою життя те, що було лише конвенціональною брехнею...

Минулося. Сорочковий рік життя, так як і трицять дев'ятий і трицять восьмий починати-му зовсім инакше. Відлюдком, самотником. Та сим разом попробую празничнійше, краще, гармонійнійше розпочати його, як двох попередніх років.

Поперед усього до чорта мелянхолію!

Двох попередніх років я ще був новаком у твердій школі самоти. Ще не порвав усіх ниток з минулим і теперішнім. Ще щось тягло мене кудись. У душі ще не вмерла була та мала дитинка, що плаче до мами. Тепер се вже скінчилося. Давні рахунки замкнені, давні рани загоєні. Де колись хвилювало та бунтувало, тепер тихо та гладко.

Сьогоднішній празник буде заразом перший триумф мойого нового світогляду, нової житєвої норми. А ся норма — старе Горацієве *Aequam servare mentem!*

Без оптимізму, без зайвих надій, бо оптимізм, се признак дитячої наївности, що бачить у житю те, чого нема, і надіється того, чого житє не може дати.

Без пессимізму, бо пессимізм, се признак хоробливої малодушности, се *testimonium paupertatis*, яке сам собі виставляє чоловік.

Без зайвої байдужности і без зайвого ентузіязму! Без зайвого завзяття та жорстковости в житєвій боротьбі, але й без недбалства та слямазарности. У всьому розумно, оглядно, помірковано,

і поперед усього спокійно, спокійно, як годить ся сороклітньому мужови.

Дурень, хто на порозі сорокового року життя не пізнав ціни життя, не зробив ся артистом життя!

Я пройшов важку школу, і здаєть ся, навчив ся в ній дечого. Я погубив багато цвітів по життєвій дорозі, похоронив багато ілюзій, та охоронив коштовний плід і виніс його зі всіх катастроф як Камоєнс свою епопею з кораблекрушеня, а се власне ту вміість жити і насолоджувати ся житєм.

Жити для себе самого, з самим собою, самому в собі!

Жите, се мій скарб, мій власний, одинокий, якого найменшої частинки, одної мінутки не гідні заплатити мені всі скарби сьвіта. Ніхто не має права жадати від мене найменшої жертви з того скарбу, так як я не жадаю такої жертви ні від кого.

Суспільність, держава, народ! Усе се подвійні кайдани. Один ланцюх укований із твердого зеліза — насиля, а другий паралельний із ним, виплетений із мягкой павутини — конвенціональної брехні. Один вяже тіло, другий душу, а оба з одною метою — опутати, прикрутити, обезличити і упідлити високий, вольний витвір природи — людську одиницю.

Живе, реально живе, працює, думає, терпить і бореть ся, паде й тріумфує тільки одиниця. І моя скромна одиниця доходить до того, щоб тріумфувати по многих і болючих упадках. Тріумфувати не шумно, со тимпани і органи, щоб шарпати слухи ворогів і будити зависть завидющих. Се тріумф дикунів, негідний осьвіченого чоловіка. Мій тріумф тихий і ясний, як пегідний

літній вечір. Мій триумф не має ворогів і не будить нічної зависти. Та він правдивий, глибокий і тривкий. Він не моментальний, не вислід паленої боротьби і зусилля. Се моє щоденне жите, але піднесене до другого ступня, осяяне подвійним сонцем, напоєне красою й гармонією.

Я витворив собі оте жите як нездобуту твердиню, в якій живу й паную, з якої маю широкий вигляд на весь сьвіт, та яка проте не стоїть нікому на заваді, не дразнить нікого своїм видом і не манить нікого до облоги. Ся твердиня побудована в моїй душі.

Сьвітові бурі, потреби, пристрасти мов щось далеке і посторонне шумлять наді мною, не доходячи до моєї твердині. Я даю тому зверхньому сьвітови свою данину, посьвячую йому частину свого жита в заміну за ті матеріяльні і духові добра, що потрібні мені для піддержання свого внутрішнього жита. Я працюю в однім бюрі, занятий працею, що напружує мій розум, але не торкає серця. Я поводжу ся зі своїми зверхниками і товаришами по бюру та іншими знайомими чужою, навіть дружно, але здержано. Всі вони поважають мене, але ніхто з них не має доступу до мого «сьвятая сьвятих», нікому я не відкриваю своєї душі, тай сказати по правді, ніхто з них не виявляє надмірної охоти заглядати в мою душу. Таких надмірно цікавих я вмю швидко висунути по за клямру своєї знайомости.

І ніхто з тих, що кланяють ся мені на вулиці, стискають мою руку в каварні, радять ся зо мною в бюрі, ані не догадуєть ся, що у мене по за тим конвенціональним, шабляновим житем є своє, инше, окреме. Ніхто не підозріває в тім сухим формалісті та реалісті духового сибарита.

артиста, що плекає одну штуку для штуки —
вмілість жити.

Ось тут у тім затишнім кабінеті, обставленім хоч і не богато, та по моїй уподобі, я сам свій пан. Тут сьвіт і поезія мого життя. Тут я можу бути раз дитиною, другий раз героєм, а все самим собою. Зо стін глядять на мене артистично виконані портрети великих майстрів у штуці життя: Гете, Емерзона, Рескіна. На полицках стоять мої улюблені книги в гарних оправах. На постаменті в кутику мармурова подобизна старинної статуї хлопчика, що витягає собі терен із ноги, а скрізь по столиках цвѣти — хризантеми, мої улюблені хризантеми ріжних колірів і ріжних відмін. А на бюрку розложена тека з моїм дневником. А обік бюрка столик застелений, уквітчаний — їй Богу, сььогодні не лише листки барвінку, але й сині його квітки! Штукар мій Івась, се він таку несподіванку придумав для мене. Знає, що я в тім пункті забобонний, вірю, що цвѣт барвінку на новий рік приносить щасте.

Вірю або не вірю, а так собі. Приємно келисати ся в такій надії, мов у гамаці.

А на столику вся холодна кухня. І яблука, і помаранчі і фіги. І кілька бутельок вина. Самі добірні марки. І два келішки! Ха, ха, ха! Збиточник Івась! Думає, що й вона буде! Що без неї й празник не празник, і новий рік не новий рік. Помилув ся, хлопче! Минуло ся мое гречане. Тепер «вона» вже не манить мене до себе, хоч би й яка була. Попробуємо обійти ся без неї. І думаю, що моя радість буде не менша, та в усякім разі глибоша, чистійша, як би була з нею. А то хто її вгадає! Здаєть ся, й гарна дівчина. І говориш із нею як із другом, а тут на тобі, з її рожевих усток вилетить якесь брутальне слово.

якийсь цинічний натяк, або й те ні, а по її лиці мигне якась тінь, щось таке погане, огидливе, і поспеє тобі весь вечір, прожене всю радість, розвіє всю поезію.

Від часу моєї остаточної романтичної історії, тої там у лісничівці перед трьома роками, на мене нераз знаходить дивне чути. Коли до мене сьміється, зо мною говорить, залицяється молода дівчина, особливо brunетка, мені все здається, що шкіра і мясо і нерви на її лиці роблять ся прозорчати, і до мене вишкіряє зуби страшна трупяча голова. Іноді в такій хвилі мене всього обдає морозом. Чи се знак, що я старію ся, чи може щось инше?

Та гов! Який то денний порядок нинішнього вечера я уложив собі? На такі празничні вечери я все укладаю собі наперед денний порядок, з тою одначе умовою, що вільно мені зовсім не держати ся його. Маю подвійну приємність: укладаючи точку за точкою смакую в думках кожду з них, а потім переміняючи їх любую ся новими комбінаціями в виконаню.

Перша точка: Россінієва увертура до Вільгельма Теля, виконана на фісгармонії. Моя улюблена композиція — вводить мене звичайно в поважний та при тім бадьорий настрій. Потім оглянемо хризантеми, обнюхаємо геліотропи та туберози в сальоні — вони бідні давно ждуть мене і сьогодні як навмисно порозцвітали ся в повній красі. Потім випемо й закусимо. Потім прочитаємо новий нумер »Neue deutsche Rundschau«, а властиво Уайльдову статю про Христа — що то такий майстер стилю і такий хоробливо-новочасний чоловік сказав нового на сю тему? Потім — ах, а яка тепер година?

Сема! Ну, до дванацятої на все се буде час. Іще переглянемо сьвіжі ілюстрації — і Jugend — і Liberum veto — і Артистичний вістник. Дбають добрі люди за нас грішних, щоб ми не нудьгували. А коли нічого не знайдемо в тій купі паперу, то у нас іще иньша розкіш на сьогодні прилагоджена — цілий гарнітур нових валків до фонографу, з піснями і розмовами ріжних знаменитостей. Послухаю, як із парламентарної трибуни гримить Жоре, як у крузі приятелів розмовляє Габріель д' Аннунціо про потребу плекания краси серед мас народніх, як зі сцени палить словами Елеонора Дузе в роді Джіоконди, і як цьвіркоче в своїм сальоні Клео де Мерод. Правда, бажалося би — Та ні, ні, ні! Нічого не бажаю. Не слід бажати нічого над те, що здоровий розум показує можливим до осягнення. Печеного леду не слід бажати. Нехай молокососи та фантасти бажують неможливого! Мої бажаня повинні йти, і йти-муть рука в руку з можливістю виконаня.

Отже потім почне бити дванацята година і тоді — — —

Дзінь-дзінь-дзінь!

А се що? Дзвінок у передпокою? В сю пору? До мене хтось? Се не може бути! Ну, розуміть ся, нікого не приймаю. Хто має право сьгодні вдирати ся до мене і заколочувати мені мій порядок і позбавляти мене моїх тихих, чесно зароблених і без нічєї кривди осягнених радощів?

Тихі кроки в сальоні.

— Се ти, Йвасю?

— Я.

— А хто там дзвонив?

— Листонос. Лист до пана радника.

— До мене?

Ось він у мене в руках, той лист. Не лист, а чималий пакет. Адресований недоладно. Мое ім'я і прозвище — і Львів. Щасте, що нема нікого другого, що називав ся-б так само як я. А правда, і др. на переді. А про те видно, що пише хтось —

Та що се? Марка російська і стемпель Порт Артур! Із Порт Артура? Се що за диво? Хто там у Порт Артурі може мати інтерес до мене? Кому там у Порт Артурі цікаво доносити мені щось? А може то не до мене? Може яка помилка? Може в середині є друга коверта і лист призначений для передачі комусь иншому?

Розкрити коверту і переконати ся, се була би найпростіша річ. Та ні. Нехай іще хвильку полежить. Ось тут передо мною. Запечатаний лист на твоє ім'я, з невідомого місця, писаний невідомою тобі рукою, се все таки якась тайна, містерія, загадка. Люблю такі містерії, бо мое жите тепер не має ніяких. Мое жите, як проста, широка, вигідна, гарними деревами висаджена алея, що веде — —

Тьфу! Що се я? З якої речі буду сьогодні згадувати про те, що пишеть ся на кінці тої алеї, на кінці кожної житевої дороги, чи вона проста алея, чи крута, камениста та вибоїста стежка? Лишимо се, воно нас не мине, а самохіть літати туди нема ніякої потреби.

Але лист! Що в ньому може бути так багато напаковано? Кореспонденція до газети, чи дневник якогось полководця, чи якісь урядові документи, чи розпорядок остатньої волі якого землячка, загнаного долею аж на край світа та застуканого там війною?

Адресовано очевидно жіночою рукою, але се не значить нічого. Такі жіночі адреси криють не раз дуже мужеські інтереси.

Щось тверде в середині. За грубістю верств паперу годі домапати ся, що воно таке. Ключик не ключик, монета не монета... Ну, відчинимо тай побачимо.

Де ножиці? А може не відчиняти? Може сей лист, що тепер лежить іще так спокійно і лише принадний своєю таємницею, по відчиненні стратить увесь свій чар, зробить ся коробкою Пандори, з якої поповзуть гадюки, що затроять мое жите, знівечать мою твердиню, а що найменше збентежать і розворушать мое нинішнє сьвято? Адже такий здоровий пакет паперу, то певно не голий папір. Скільки там слів написано! І подумай собі, що іноді досить одного слова, щоб убити чоловіка, щоб на віки або на довгі літа зробити його нещасливим!

Я здавна бою ся всяких листів і сам не пишу їх, хіба дуже рідко, в урядових або ділових справах. Кожний лист, се бомба. Може показати ся іноді, що се чоколядова бомба, але з верхнього вигляду нікто не може пізнати, чи та бомба не наладована мелнітом і чи не розірве тебе в найблизшій хвилі.

Моя рука тремтить! Якесь холодне чуте пробігає по всьому тілі...

Стій! Се нехибний знак, що лист має якийсь фатальний зміст. Стій! Не руш його! Як би я тепер узяв і не розпечатавши кинув його в огонь? Він згорів би і поніс би всі свої тайники в безмірний простір, назад туди, відки прийшов. А я лишив ся-б з утаєним у душі почутем іще одної нерозв'язаної загадки — тай годі. Нерозв'язана загадка цікавить, навіває жаль або тугу — все

те приємні почуття. Розв'язана може зранити або вбити.

Ха, ха, ха! Але я таки порядний боягуз! Чую себе таким певним у своїй твердині, за забородами своєї філософії, серед бангт своєї самоти, — і бою ся отсього паперового гостя. Навіть коли-б се була бомба кинена злобною рукою, то що вона мені зробить? Особисто мене не трафить, а постороннього, дорогого і любого мені не знищить, бо нікого такого, здасть ся, на всім світі у мене нема! А коли так, то чого мені боятися її?

Але чогож тремтить моя рука держачи нежиді? Чого стискаєть ся серце якимось тривожним прочутом?

Так і є! Се якийсь фатальний лист! Без виразного наказу моєї волі, якимось механічним відрухом рука відчинила його. Тонесенький пасочок з краю відкритий. Загадка відкрита — і воли у тебе є ще який арсенал оружя против мене, доле, коли ти якраз сььогодні, перед новим роком, із другого кінця світа, з далекого Порт Артура наведе ворожі батерії на мене, то стріляй! Поборемо ся!

Лист відчинений!

Лист. Не жадна кореспонденція. Нема окремої коверти і ніякої передачі. Значить — до мене. Хто се може писати? Датовано з Порт Артура в вересні — як раз чверть року пройшло. Міг би сей пакетик оповісти дещо, як то йому було небирати ся через японську облогу. Але хто више?

Підпис. »Твоя Сойка.« Що се значить? Ніякої Сойки — Боже мій! І сойчине крило в листі!... Та не вже би? Не вже вона, та, яку я від трьох літ споминаю між помершими? Та, якої нагле і загадкове щезнене вігнало в гріб її батька, а мене випхнуло з кипучої течії громадської праці і загнало в отсю тиху, відлюдну пристань? Вона в остатніх днях нашого товаришования любила називати себе сойкою і все дразнила мене тою сойкою, що гніздила ся перед моїм вікном, поки вона не вбила її. Невже се з тої самої сойки крило?...

Мої руки тремтять ще дужше як уперед. У грудях ще більший неспокій, голова крутиться. Чого ти, дурне серце? Що тобі? Невже ти не оплакало, не похоронило її? Не вже одна поява отих кількох аркушів записаних її рукою, одного засушеного крильця давно вбитої пташини може вивести тебе з рівноваги?

А в тім — є ще рада. В огонь з отсим листом! Від покійників кореспонденцій не приймаю.

Дурню, дурню! Мелеш язиком таке, чого не можеш словнити! Хиба ти здобув ся б на те, щоб тепер, зараз спалити сей лист, її писане, не прочитавши його?

Фаталізм! Лист прочитаю, хоч би мое серце мало тріснути з гніву, з жалю чи з обуреня.

»Чи тямииш мене?

Ха, ха, ха! Ха, ха, ха!

Тямииш мій сьміх? Ти колись любив його слухати. Чув його з далека і приходив до мене. Чи чуєш його тепер через океани та степи та гори?

НА ЛОНІ ПРИРОДИ.

14

Чи тремтить він у твоїм вусі разом з шумом вітру?
Чи мерехтить разом із промінем заходового сонця?
Ха, ха, ха! Ха, ха, ха!

Чи тямиш мене?

Тямиш ту весну з її пурпуровими сходами сонця, з її теплом і ясністю, з її бурями мов сварки закоханих, з її громами мов крики любих дітей, що пустують у широких покоях? Се я була.

Тямиш той ліс із його полянами і гущавинами, з його стежками й леніями, з його зрубам та хащами, де стояли високі квітки з тужливо похиленими головками, де до сонця грали тисячі сверщків, а в повітрі бреніли мільйони мушок, а в затишках гніздили ся рої співучих пташок, а по полянах пасли ся ясноокі серни, а скрізь розлита була величня гармонія і жите йшло рівним, могутнім ритмом, що передавав ся душам людським? Тямиш той ліс, мій рідний ліс, якого нема другого на світі? Се не був ліс, се я була.

Чи тямиш мене?

Тямиш ту лісничівку в самій середині того ліса? До неї сходили ся всі лісові дороги, як артерії до серця, а з неї виходив лад і порядок і сильна воля на всі окраїни ліса. А в ній кублило ся тихе, відлюдне жите старого батька і молоді дівчини. Лунали голосні, різкі, з золотого серця пливучі мужеські слова, і ще голосніші, звінкіші сміхи і співи дівчини пестійки. Тямиш її? Се я була.

Чи тямиш мене?

Тямиш ту поляну, де ми у перве здибали ся? Я була в зеленій стрілецькій куртці, з лефошівкою через плече, з готуром свіжо застріленим у торбі, з свиставкою в губах. Тямиш, як ти витривив на мене очи побачивши мене? А я

розреготала ся побачивши твое зачудуване. А ти був у простій блюзі, підперезаний ременем, блідий ще від недавно відсидженої тюрми, з утомленим, помарнілим лицем, з крисатим капелюхом насуненим на чоло. А почувши мій регіт ти стрепенув ся нараз і зняв капелюх і наблизив ся і почав звиняти ся, що без дозволу ходиш по лісі, але тобі веліли лікарі... а ти тільки що вчора приїхав... і власне мав намір представити ся тактови... і пригадуеш собі мене ще маленькою панночкою... і тямиш мою маму... і вибачайте, що на перший ваш вид так зачудував ся... і не сподівався застати вас таким Німродом... А я подала тобі руку і ти поцілував її, і я чула, як твої уста під чорними вусами тремтіли і горіли, і гадала, що се у тебе горячка, і просила тебе провести мене до дому... А ти запитав, що я застрілила, і я показала тобі ґотура, і ти здивувався, відки тут узяв ся ґотур, і заявив, що ти прожив у тім лісі всю свою молодість і ночував тут нераз з кінями і вештав ся скрізь по лісі ранками й вечерами і ніколи не видав ані не чував ґотура. А я сьміючи ся сказала, що се задля мене завели ся тут ґотури, зваблені моїм сьміхом і моїм свистом, і що я чарівниця і прошу тебе берегти ся мене. Ха, ха, ха! Пригадуеш тепер? Се я була!

О, я знаю, що ти тямиш мене! Мусиш тямити! Неможливо, щоб ти забув мене! Я-ж сконцентрувала всю силу своєї волі, весь огонь своєї пристрасти, всі чари своєї душі й тіла, щоб на віки, незатертими буквами вписати ся в твою тямку. Як добрий режисер я брала до помочи все, що було під рукою: сонце й ліс, пурпури сходу, чари полудня і мелянхолію вечера. Оповідання батька і шум ліса. Рев бурі і тихі шепти дру-

жньої розмови. Все, все те була штафажа, були декорації для моєї ролі, яку я хотіла відіграти перед тобою, щоб лишити в твоїй душі незатерте, незабутнє, високо артистичне вражінє, таке вражінє, де ілюзія ані на волосок не ріжнила ся від найпоетичнійшої дійсности. Ха, ха, ха, пане артисте, вдячний ти мені за мою роль?«

Годі читати! Сього занадто!

Чи ти ворона, що дереш горло своїм ненастанним: чи тямш? чи тямш? І сама знаєш, що тямлю. Та мабуть не знаєш, як тямлю. Гарнесенько зібрав усі спомини, як кісточки зі спаленого покійника, зложив їх у штучно точену урну з карнеолу і поставив далеко в куток свого серця. Нехай стоїть, нехай буде як оздоба, а не як завада в житю.

А ти з далекого краю простягаєш свою демонську руку, підймаєш свій воронячий голос і витягаєш ту урну з глибокого закутка душі, відчиняєш і перебираєш кісточку за кісточкою, одіваєш її мясом і шкірою, наливаєш кровю і соками і надихаєш своїм огняним, демонським духом. І ще й регочеш ся мов упириця і показуєш мені ті постаті і верещиш при кожній своє ненависне. >Чи тямш мене? Се я була!«

Женцино, демоне! Чого тобі треба від мене? Чого ти завзяла ся мучити мене? Чи я в своїм житю зробив тобі яке лихо? Я віддав тобі все, що було найкраще в моїй душі, без домішки хоч би атомива низького, підлого, брудного, а ти пограла ся моїми сьвятощами і кинула їх у болото. Я вірив у тебе, як у себе самого, а ти кажеш, що лише роль грала передо мною. Я вкладав усе

своє жите, всю свою душу в кождий свій погляд, у кожде своє слово до тебе, а ти хотіла лишити мені лише незабутнє артистичне вражінє!

Женцино, комедіянтко, прокляте на тебе! Всі твої слова і сьміхи і сльози — все комедія, все роля, все опука!

Та годі! Я тепер expertus Robertus. Тепер ти дармо граєш передо мною свою ролю, бо я знаю, яка її ціна й яка її вартість. Тепер я міцнійше узброєний на твої стріли. Тепер я й сам сиджу за естетичними заборонами, що мов шліфована сталь відкидають від себе всі кулі та гранати фальшивих слів і сліз і сьміхів.

Говори собі, пиши собі, що хочеш! Я тепер дивлюсь на все оком естетика, розпізнаю кождий момент фальшивої гри. І де ти сьміяти-меш ся, я байдужно здвигну раменами. І де ти плакати меш, я засьмію ся і скажу: »Ні, дитино! Се не так! Тут іще того й того треба до осягнення повної іллюзії.« І де ти впадеш у патос, там я скривлю уста і скажу: »Тфі, се вже зовсім злий смак!«

Говори собі! Пиши собі! А я почитаю далі.

»Не сердь ся на мене, мій Массіно, не сердь ся на мене!

Тямиш, як я з руського Хоми перехрестила тебе на італійського Томассо, а сього здрібнила на Томассіно, а сього вкоротила на Массіно? І як ти тоді сердив ся на мене за те, що я протягом одної години, між трьома серіями поцілуїв і пестонців ~~три~~ перехрестила тебе?

Ти все сердив ся на мене. Твоя любов виявляла ся головно сердитістю. Була немов мимо-

вільна, силувана концесія для твоєї пророцької чи апостольської гідности.

Ха, ха, ха! Тямиш, яким пророком і апостолом я пізнала тебе? Як ти не говорив, а благовістив, не кланяв ся, а снисходив? І се дразнило мене. І я нищечком постановила собі стягти тебе з педесталу — іронією, кпинами, сьміхом, жартами. А коли сі способи не помагали, бо в тебе в душі були заборолі перебутого терпіння, то я пустила в діло інші способи — сердечність, щирість і нарешті остатній, найсильніший — свою любов. І ти не міг оперти ся їй, і я побідила. А ти почувавши свою безсильність супроти мене, супроти того людського, мужеського, що було в твоїй натурі, — сердив ся на мене, на себе самого, бурчав — і плив за течією. Тямиш се все, Массіно мій?

А про те не сердь ся, навіть тепер не сердь ся, коли нас розлучили отсі три роки небаченя. Не докоряй мені комедіянтством! Не докоряй тим, що я грала ролю перед тобою! Хибаж я могла інакше?

Ти любиш цвіти, правда? А приглядав ся ти їм коли уважно? Пробував вникнути в їх душу, в їх психольогію? Ти вчений, вдумливий чоловік, ти повинен би частенько робити се.

Хибаж ти не знаеш, що цвіт, се кокетерія рослини, що всі оті рожі, геліотропи, хризантеми та туберози те тільки й роблять, що кокетують, грають ролю, бють на ефект — а все в одній цілі. Ти знаеш, у якій. Вони дразнять наш зір своїми пишними колірами, лоскочуть наш дотик незрівняною ніжністю своїх листочків та чашечок, бентежать наш нюх ріжнородністю та розкішними комбінаціями запахів, яких наша мова не в силі назвати а наша наука уклясіфікувати. Але їм іще

сього мало. Вони не задовольняють ся нашими зми-
слами, заходять у нашу душу, глибоко торкають
наше естетичне почуте нечуваним багатством та
різнородністю рисунка, грацією своєї цілоти,
принадністю та таємничістю своїх рухів. Адже
геліотроп повертає свою головку за сонцем! Адже
інші цвіти соромливо стуляють свої чашки в
день, щоб сонце не висало з них пахоців, і роз-
хилиють їх аж вечером. Вдумай ся в їх психо-
льогію, Массіно, і докори їм, що вони грають ро-
лю, що кокетують, що виставляють себе в фаль-
шивій красоті. Хибаж вони можуть інакше?

Хибаж жінщини можуть інакше? Те, що
вам, твердшим, тупійшим видаєть ся кокетерією,
комедією, се у них найінтимніший, несвідомий
вияв їх натури, се у них таке просте і конечно
і неминуче, як дихане легкими і ходжене но-
гами.

Не сердь ся на мене, Массіно мій! Я не
винувата, що ти в моім житю був тим палким
сонцем, яке змушує квітку розвита ся і розпу-
стити ся і відкрити свою чашечку і розлити свої
найкоштовніші пахоці.

І признай ся отверто, перед самим собою,
чи ти тоді не був щасливий? Чи я не була квіт-
частим оазісом у твоім житю? Чи ти в нашій
лісничівці не пережив найкрасшого літа, яке вза-
галі випало тобі на долю на твоім віці?

Ти сам говорив мені се тоді. А тепер, по трьох
роках розлуки що скажеш?

Чи осьмілиш ся проклясти те літо за те
тільки, що воно минуло? А тиж як хотів? Щоб
одно лише твое щасте зробило виємок із усього
на світі і не минуло ніколи?

Чи осьмілиш ся кинути каменем на мене за
те, що я покинула тебе? Гай, гай, Массіно, в та-

кім разі камінь упав би на тебе самого. Не я покинула тебе, а ти не зумів удержати мене. От що, небоже! Ти мав часу шість місяців і не зробив нічогосінько для того. Хибаж я тому винна, що инший за шість неділь упорав ся зо мною краще?

Се я, Массіно, я мала би право нарікати на тебе, проклясти тебе. Адже признай ся, по щирости, перед собою самим: ти не вірив у мене, в мою щирість, у мою любов. Ти приймав мої пестоці, всі вияви мого розбурханого, молодого чутя з пасівністю сибаріта — нехай і так, що ніжно, вдячно, але не виходячи з поза заборона свого супокою, свого егоїзму. І я відчула се. Як мене боліло те, того ти не знав і не відчуєш ніколи, ти поганий егоїсте й сибаріто! Але маєш за се кару! Я покарала тебе, і коли у тебе є хоч шматочок людського серця в грудях, ти мусів відчути ту кару, і мусиш іще не так, не так відчути її!

Та про те, Массіно, не сердь ся на мене! Я караючи тебе, потерпіла сто, тисячу разів дужше, як ти, і за мое терпіне« — —

Кінець реченя замазаний, букви розплили ся — чи води накапано, чи сліз?

А може її й правда? Може вона під впливом свого темпераменту, своєї крові, своєї вдачі робила так, як мусіла і не могла інакше?

Ха, ха, ха! Я, освічений чоловік, — матеріяліст і детермініст, і ставлю таке питане! Я вірю, що в природі ані один атом не порушаєть ся інакше, як під впливом неминучої конечности, і я сьмію ще сумнівати ся, щоб людина могла

поступати не так, як мусить? Не так, як тягне її вічний, неохибний, хоч у сьому разі безмірно скомплікований паралельограм сил!

Се тільки ми гупі і тупі, не розуміючи законів того скомплікованого паралельограма, не добачаючи всіх тих сил, що складають ся на його результат, плещемо про вольну волю, про злу волю або самоволю людини. І плачемо, коли рух по перекутні того паралельограма перейде через наше глупе, невидюще, егоїстичне серце і скалічить або бодай болюче торкне його.

Каже, що вона перетерпіла багато...

Каже, що моглаб на мене нарікати, що я не зробив нічогосінько, щоб задержати її, прикувати її до себе. Що я колисав ся в колисці сибаритства та егоїзму, поки вона розливала передо мною коштовні пахощі своєї першої любови...

Се — гм — се... се таке, що не сьгодні слід про се думати.

Се може затроїти чоловікови не лише передвечір нового року, але навіть роскоші раю.

Ні, про се годі думати. Чоловік не може доходити кожній колоді кінця, а то »i umrze i nie będzie umiał w to ugodzić«, як казав колись Кохановский.

А ми читаймо далі! Може там щоль весе-
лійше буде.

»Посилаю тобі сойчине крило. Тямиш ту сойку, що гніздила ся на смереці перед самим вікном тої лісової хати, в якій ти проводив літо?

З моєї намови. Я хотіла мати тебе близько себе.

Я що ранку зі стрільбою на плечи прибігала до твоєї хати, щоб сказати тобі добрийдень крізь вікно. І що ранку ота сойка, що гніздила ся на смереці проти самого вікна, своїм скрекотом упреджала тебе про мій прихід.

Я зразу полюбила її. Вона була немов моя повірниця, моя служка. Задля неї я щадила весь сойчиний рід у лісі, бо бояла ся, щоб стріляючи не застрілити її.

Тямиш, як ми нераз обнявши ся перед хатою сиділи мовчки, в щасливім забуттю, і дивили ся на спокійне поране сеї сойки в гнізді? Як вона вичистивши гніздо сідала в ньому і тихими, розумними очима цікаво дивила ся на нас, презабавно зазираючи по над крайочок гнізда та повертаючи головку? Її очі мали якийсь магічний вплив на тебе. В таких хвилях ти цілував палкійше, пригортав мене до серця сильнійше і з твоїх уст лили ся слова, що були для мене мов роса для звяленої квітки. В таких хвилях мені здавало ся, що заглядаю в твою душу, а крізь неї в якийсь величній світ, повний чудес і невиданої пишноти.

А потім я почала ревнувати тебе до сеї сойки. Тихо, в глибині душі я почувала глуху заздрість до неї. Мені здавало ся, що ти не мене любиш, а її. Її веселий скрекіт будив тебе що ранку; її тихе поране в гнізді оживлювало тебе; цікавий погляд її очий наповняв тебе чарами, окрилював твої слова. І я зненавиділа її як свою супірницю.

Не сьмій ся з мене, Массіно! Се правда. Я з часом дійшла до того, що голос сойки — не лише сеї, але всякої взагалі псував мені гумор, робив мене злою і сердитою. Я чула, що не зможу терпіти її обік себе.

І я вбила її.

Одного ранку я прийшла вчаснійше як звичайно. Хотіла підійти так тихо, щоб ота ненависна сойка не почула мене, щоб мій, а не її голос збудив тебе. Та ні! Ледво я наблизилася на яких пятьдесят кроків до твоєї хати, ледво моя зелена сукня показала ся на стежці серед сірих дубових пнів, а вже моя супірниця почула мій прихід, побачила мене, вискочила з гнізда і скачучи по гиялці над самим твоїм вікном та злорадно — так мені бачило ся — тріпочучи крильми, заверещала своїм хрипливим голосом:

— Кре, кре, кре, кре, кре!

І в тій хвилі я побачила, як із середини твоя рука відсуває вікно. Вона збудила тебе, а не я!

Ні, я не могла стерпіти сього! Я зайшла смерічками за вугло твоєї хати, підвела стрільбу до ока і поки нависна сойка все ще скрекотала сидючи на гиялці, я вицілила.

Гукнув вистріл, сипнуло в гору дрібненьке піре, і моя супірниця, ще тріпочучи крильми й лапками, мов грудка скотила ся в низ.

Ти вибіг із хати. Ти був увесь блідий. Побачивши мене ти не всьміхнув ся, не простяг мені, як звичайно, обох рук, тільки з якимось доктором у голосі запитав:

— Манюсю, а се що таке? Ти забила нашу сойку?

А в мене в хвилі вистрілу вже зайшла реакція в душі. Мої руки дрожали. Я вхопила мертву пташину і почала цілувати її закровавлену головку. Потім розплакала ся.

Тямиш, як ти обтирав мені сойчину кров із уст і цілував мої уста і вцитькував мене?

А того таки й не допитав ся, за що я забила сойку.

А на обід ми з'їли її смажену. І сьміяли ся. Тямиш? Але я тоді вже знала, що нам не бути в парі, що та сойка, то наша розлучниця.

Я заховала її крильця, поклала їх між обложки і картки свого молитовника і не розставала ся з ними ніколи. Отак зо мною заїхали вони аж сюди, до Порт Артура.

А тепер посилаю тобі одно з них. Здаєть ся мені, що се летить до тебе половина моєї душі. А як одна половина залетить, то від твоєї душі буде залежати, чи прилетить і друга. Коли в твоїм серці є ще хоч іскра любови до мене, хоч крапельночка бажання — побачити мене, то се буде та сила, яка притягне й друге крило, другу половину моєї душі до тебе.

Лети-ж, сойко, в далекий сьвіт! До того, що любив слухати твого скрекоту, любив дивити ся в твої очи! Затрепочи отсим крилом над його душею і роздуй те, що там тліє ще під понелом байдужности та розчаровань! Навій на нього солодкі мрії, любі спомини! Розворуш його серце, щоб забило ся невимовною тугою, запали в його очах блискучі іскри, щоб горіли як дорогі брилянти, і потім угаси їх слізми мов перлами та пишними кришталями!

Та коли він зворушений запитає тебе: А деж ти бувала? А щож ти чувала? — то мовчи! мовчи!

Впадаєте в сантиментальність, шановна пані. Вона шкодить вам. Поетичні вислови та слезоточиві фрази не до лица вам.

Того писаня ще груба пачка. Вже осьма вибила. Як воно все таке саме, то зачинає бути нудне. Не варто було й трудити ся писати таку пустомельщину.

Все се, коли сказати вам по правді, панно Маню, ані крихти не зворушує мене. Бо все се слова, фразеологія. Правдивого чутя в тім нема, от що. А я занадто старий воробець, щоб дав зловити себе на полову.

Ваша історія з сойкою зовсім не до речі приточена. І містику якусь із тим крилом ви не до речі підпускаєте. Се малим дітям та старим пряхам до лиця, а не нам із вами, панно Маню.

Почитаю ще троха далі. Коли й там таке саме, то покину. Не буду дочитувати. Або липу на завтра, або зараз кину в огонь. Не цікаво. А от валки повставляю до фонографа, послухаю Габріеля д' Аннунціо або Дузе або красуню Клео. Се буде зовсім инша забава, ніж нудне сентиментальне балакане тої авантурниці з Порт Артура! Ну лише, що там далі пише?

»Я знаю, Массіно, ти не любиш сентиментальности. І тебе вже знудило отсе балакане без змісту. І ти питаєш себе: Чого вона хоче? Чого чіпляєть ся? І чи до віку думає натуркувати мені голову своїми катаринковими: Чи тямиш? чи знаєш?«

Се чорт, не жєнщина! Завважую, що вона пишучи се немов душею розмовляла зо мною, і укладаючи свої фрази рівночасно своїми ящірчачими очима слїдила кождий рух моєї душі.

Вела зо мною нечутний діяльог і зараз же відповідає на кожний заміт, що ворухить ся в моїй душі.

Allen Respekt! Се також талант. Чи може яка инша сила? А може лише привычка, віртузівство? Ну, та читаймо далі, побачимо, чи вміє вона промовляти й иншим тоном, бо се очевидно заповідає її остатня рефлексія.

»Отже почну щось инше. Почну таке, чого ти найменше надієш ся.

Знаєш? Вертаю до тебе. Скоро тільки тут буду вільна, скоро покладу в могилу свого мужа, вертаю до тебе.

Не думай, що я без серця, що спекулюю на смерть свого мужа. О, ні, я вірна йому, так як була вірна сімом його попередникам. Але йому не довго жити. В остатнім штурмі куля відірвала йому обі ноги, і тепер він лежить безнадійно хоррий, лежить і конає отсе вже другий тиждень.

Я сиджу біля нього. Замість сестри милосердя. Дні й ночі пильную його. А в вільних хвилях пишу тобі отсей лист. Коли тоска занадто давить серце, я хоч на папері сьмію ся до тебе. Коли жорстока дійсність кліщами шарпає за душу, я нагадую своє минуле, свою молодість, своє щастє і тебе, невідлучно тебе, Массіно мій.

І я верну до тебе. Тільки вмре Микола Федорович — а він неминуче вмре, не сьогодні, то завтра, — я зараз рушаю з сього пекла. Сідаю на першу ліпшу китайську джонку, в темну ніч, у супроводі хоч Китайців, хоч самих чортів пускаю ся на море, і пливу, лечу, мчу ся — хоч на дно моря, хоч до тебе, Массіно мій!

Я не спекулюю ні на що, не надіюся нічого від тебе, не хочу каптувати тебе для себе. Мені байдуже, чи ти приймеш мене, чи ти привтаєш мене, чи відіпхнеш мене. Байдуже. Я хочу лише побачити тебе, ще раз стиснути твою руку. А потім — байдуже.

Бачиш, яка я фантастка, романтичка. Ти сказав би: глупа сойка! Принаймні з цього погляду не змінила ся за сих три роки, що ми не бачили ся.

Микола Федорович застогнав. Спішу до нього!...«

»Ти віриш у силу сповіди?

Колись маленькою я була дуже побожна. Моя мама була побожна і мене виховувала в тім дусі. І я почувала дивну полєкшу в молитві і дивну розкіш у сповіди.

Потім прийшла весела, вільнодумна молодість. Батько був вільнодумець і своїми жартами, дотепами а далі й доказами розвіяв мою дитячу віру.

А потім прийшла буря, що вхопила мене мов листок відірваний від гильки і покотила далеко по сьвітї, аж занесла сюди, на край сьвіта. І весь сей час, хоч як мені нераз приходило ся болюче, важко, страшно, я не молила ся, не сповідала ся. Не почувала потреби. Серце запекло ся і не мякло ані разу.

Аж тепер... Ніч. Тихо, ясно. Осінні пахоңці ллють ся крізь відчинене вікно разом із теплом ночі. Далеко грає море, а по його хвилях танцюють роями дрібненькі сьвітла та час від часу пересувають ся величезні сьвітляні стовпи — се рефлектори слїдять, чи не підкрадаеть ся Японець.

Мій хорий спить важким, на пів мертвим сном. Над ним плаче тїнь його далекої матери. Я свобідна. В тій самій кімнатці, відділена лише параваником від його ліжка, сиджу при сьвітлі лампи і пишу.

Розмовляю з тобою, Массіно мій. Тулю ся до тебе, як бідна, нещасна сирота, що приблукала ся з далекого сьвіта і вся терпить безлічю перебутого терпіння. Тулю ся до тебе і мені якось мягко робить ся на душі. Чую присутність якоїсь виспої, доброї сили над собою.

Тямиш той чудовий уступ у Біблії: степом проходила буря, та в тій бурі не було Єгови. Гуркотів грім, та в громі не було Єгови. Свистів вітер, та в вітрі не було Єгови. Гуло землетрясене, та в землетрясеню не було Єгови. Та коли прояснило ся і засьяло сонце і повіяв легесенький легіт понад цьвітами — глянь, і в подуві того леготу був Єгова.

Оттак і я тепер, в одну з рідких для мене хвиль тиші та супочинку чую щось таке, мов той містичний легіт. Душа відчиняеть ся, мов квітка, що в часі бурі стулила була свої барвисті листочки.

Почуваю потребу висповідати ся. Поділити ся з кимось усіми своїми пригодами, всіми своїми злочинами, всім своїм терпінем.

Массіно, любий мій, єдиний на сьвітї, кого я правдиво і беззавітно любила і доси люблю, прошу тебе, слухай моєї сповіди !

Не прошу в тебе милосердя для себе. Не прошу в тебе розгрішеня для своїх гріхів. Нічого не прошу, лише вислухай моєї сповіди. А потім суди або не суди мене, як знаєш !

Femina — animal clericale. Хто то сказав сю сентенцію?

І не помилив ся. Жінчина жие чутем і як геліотроп до сонця обертаєть ся все до тих, що вміють найліпше грати на струнах чутя. А се, розумієть ся, поперед усього чорні ряси.

Містерії, тайни, сакраменти — отсе їх житевий елемент. Се невідхильна потреба їх природи.

Коли-б у всіх людей не було віри в чуда, жінчини витворили-б її.

Чи ж не з жінчиною трапило ся перше чудо? До неї заговорив вуж.

Коли б не було церкви з сакраментами, жінчини витворили б її. Не даром у первіснім християнстві роля жінчин така визначна, як не була в первочинах жадної іншої релігії.

Коли суспільність почне еманципувати ся від клерикалізму, жінчини силою своєї чутливої вдачі знов затягнуть її в сутінь сповідальниці. Не даром дочки Діма, виховані в атеїзмі, в старшій віці повступали до монастиря.

Які дурні наші поступовці та радикали, що деклямують на тему конечности рівноправности та рівнопросвітности жінчин з мущинами! Як коли би се було можливе! Як коли би се було потрібне! Як коли би се було комусь на щось пожиточне!

Дай їм сьогодні рівноправність у державі, вони зроблять ся незломною опорою всіх реакційних, назадницьких, клерикальних та бюрократичних напрямів.

Дай їм рівнопросвітність, коли для них усяка просвіта, всяка наука, се тільки окремий рід туалети, спорт, спосіб приманити спеціального рода женихів.

Певно, бувають виемки. Виемкам усяка свобода. Але тягти весь загал жіноцтва, особливо того ситого та вбраного та виперфумуваного до висшої науки, се цілковита страта часу й засобів.

Ну, та годі! Що се я в антифемінізм забігаю? Нехай би почули се наші фанатики ноступовства, то то би мені було! Чоловік найменше розуміє жарту в таких речах, які найменше розуміє.

А ми все таки послухаймо сповіди нашої сойки з Порт Артура!

»Ах та сцена, та сцена, остатня сцена нашого спільного побуту!

Тямиш її, Массіно? У мене вона доси мов жива в пам'яті.

Татко від'їхав до Львова і мав вернути пізно в ночі. Ти по цілоденній праці над якоюсь книжкою в своїй лісовій хатчині над вечір прийшов до нас. Ми пили чай, я, ти і пан Генрісь, молодий татків практикант, прийнятий місяць перед тим.

Тямиш його? Хлопець ледво 26-літній, рум'яний, ніжний як панночка. Так мало говорив у товаристві... Рум'янів ся при кождім натяку на любов та на жіночий рід. Працював так пильно в татковій канцелярії. Був такий тихий, слухняний, такий делікатний та чемний у поведженю... Тямиш його, Массіно?

О, я думаю, що добре тямиш і тямити-менш до самої смерті.

Ми пили чай на веранді. Пробували свіжі смородинові конфітури, що я наварила того дня.

Ти дуже любив їх, а пан Генрісь не терпів їх за-
паху. А я долила йому їх до склянки з чаєм.
А він почервонів ся весь і з подякою відсунув
склянку. А ти мовчки взяв його склянку і подав
йому свою з чистим чаєм. А я реготала ся, реготала ся як шалена.

О, я багато реготала ся того вечера, дуже багато. Занадто багато.

Я знала, чого регочу ся, але не знала, що се
остатній мій регіт. Не знала, що́ прийде по ньому.
Ти оповідав про свій ранішній грибозбір. Потім
свою розмову з селянином, якого ти здивав у лісі.
Потім перейшов загалом на положене селян, на
відносини до них управи камеральних дібр. Ти
розвивав передо мною свій улюблений плян пе-
ренесеня камеральних дібр під заряд краю, за-
кладаня на тих добрах вільних хліборобських
спілок при участі селян і інтелігентів, ступне-
вого викуплюваня панських дібр і парцеляції їх
таким спілком, ступневого розбиваня теперішніх
сіл на групи фільварків удержуваних такими
спілками. Іншим разом я так любила слухати тих
твоїх реформаторських плянів. Чи ти й доси ще
носиш ся з ними?

Але тоді мені було не до спілок і не до
фільварків і не до грибів і не до лісових кар.
У мене перед очима миготіли, мерещили ся та
іскрили ся чарівним блиском інші, широкі, чу-
дові світи. Світи, про які тобі й не снило ся,
бідний мій Массіно. Світи повні невимовної рос-
коші, вольної волі, палкого кохання. Я вже кілька
день носила їх у своїм серці, деліяла і берегла
як свої найсвятійші святощі і пильнувала, як
ока в голові пильнувала, щоб не зрадити ся з тим
своїм скарбом перед тобою. Щоб навіть надмірний
блиск моїх очий не зрадив перець тобою те, що

там горіло та ясніло та іскрило ся в моїй душі.

Я напустила на себе поважний вид і почала питати тебе, як же ти думаєш зробити те, щоб перетягти ті камеральні добра під краєву управу? А ти почав толкувати мені про потребу агітації серед народніх мас, про організацію великої трудової партії, про виборене виборчої реформи. А мені, слухаючи твоїх виводів, було так сьмішно, так сьмішно!...

Ти весь думками й душею бував у будущому, в громадській праці, в службі загалови, а не знав, що дієть ся ось тут коло тебе.

Твої очи спочивали на мні з такою певністю, з такою любовю і вірою, а мені було сьмішно, сьмішно, що ти такий сліпий, такий добрий, такий легковірний як дитина!

Генриць посидів троха і сказав, що мусить іти лагодити коні, бо ще сьгодні мусить поїхати до сусідного села передати якісь розпорядження тамошньому лісничому. Відходячи він ані не глянув на мене.

Ми лишили ся обое. Я споважніла. Ми мовчали хвилину. Ліс довкола нашого дому помалу тонув у нічній темряві. Сова загукала на дупластім дубі і ти стрепенув ся.

— Гарна птиця, — сказав ти по хвилі, — а коли отак загукає, то чогось поневолі на серці моторошно робить ся.

— Наче щось живе вмирає, — додала я, і по мні також пройшов мороз при тих словах.

— Мов якийсь демон глузує з людської віри, з людського сподіваня.

— І з людської любови, — докинула я сентиментально.

А мені було так сьмішно, так сьмішно!...

— І знає чоловік, — промовив ти по хвилині, коли сова обізвала ся ще раз, — що се-ж нічим неповинна, ні в яких демонських штуках непричасна пташина, а про те її голос робить такий ефект. Чисто театральний ефект. Штука для штуки.

— А ти певний, що за сею штукою не криється якась тенденція? — запитала я.

— Якаж тут може бути тенденція?

— Ну, а може справді який лихий демон у тій хвилі сьміється над нами?

— Га, га, га! — засьміяв ся ти. — Над нами? Чим же ми дали ся йому на сьміх?

— Нашою любовю. Може він завидує їй.

— Гм... як на демона, то се можливо. Та ми маємо міцне забороло на його стріли.

— Яке?

— Саму нашу любов. Її силу... Її щирість. Оту отвертість, що не допускає найменшої тїни між нами.

Ти сказав се з таким дитячим довірем, з такою певністю, що в мене навіть не стало духу подразнити тебе. Я затулила тобі уста горячим поцілуем.

— І ти, Массіно, так віриш мені? — запитала я.

— Хибаж можна не вірити тобі? Не вірити отьому?...

І ти притиснув мене до себе і цілував мої уста.

В тій хвилі від нашої возівні почув ся дзвоник.

— Се Генрісь збирається їхати, — сказала я мимоходом.

— Нехай собі їде. Ніч місячна, — сказав ти держачи мене в своїх обіймах.

Затупотіли коні. Затуркотіла бричка. Скрипнула брама. Я ще раз палко поцілувала тебе і легенько увільнила ся з твоїх обіймів.

— Хвилинку, Массіно. Я зараз буду тут.

І я вибігла з веранди до сальону, з відтам до свого покою, і тут мало не впала на ліжко. Мене душив шалений сьміх. Я залила ся п'яним, божевільним реготом.

— Ха, ха, ха! Ха, ха, ха! Хвилинку, Массіно! Я зараз буду тут. Ха, ха, ха!

Чи довго ти чекав?

Ся хвилинка протягла ся троха довго, мій бідний, глупий, недогадливий Массіно. Від тої хвилинки ми не бачили ся й доси.

»Мій бідний, глупий, недогадливий Массіно!«

А ти то, богата, мудра, догадлива Маріє великого щастя доскочила? Адже скроплюєш сльозами отсі картки!

Стаєш мені як жива перед очима в тій остатній хвилі нашого баченя. Веранда густо обросла диким виноградом. У однім куті простий дощаний столик. На ньому лампа. Ти з одного боку сидиш на кріслі, я з другого. Генрись тільки що пішов. Ти регочеш ся в слід йому.

— Манюсю, — говорю я, — ти дуже весела сьогодні.

— Так, дуже весела, дуже весела! Ха, ха, ха!

— А не можна знати, чого ти така весела?

— Мабуть перед сльозами.

— Що ти, люба! Відки тобі до сліз, пташино моя?

І я беру твою руку і стискаю її.

Ти встаєш і приступаєш до мене. Легенько виймаєш свою руку з моєї, кладеш мені обі руки на плечі і поважно, тихо дивишся мені в лице.

В тім моменті й тепер стоїш мов жива мені перед очима. На тобі перкальова сукня, червона з білими, круглими цятками. На шиї золота брощка з опалем. У волосю металевий гребінець. Стоїш похилена наді мною. Мої очі спочивають на твоїх грудях, що злегка хвилюють під сукнею. Потім я підводжу їх на твоє лице. Твої губи легенько тремтять.

— Любиш мене, Массіно? — запитуєш ти тихо.

— Дитя моє, ти-ж знаєш, як я люблю тебе!

Я беру одну твою руку і тулю її до уст. Ти легенько відтягаєш її і знов кладеш на моє плече. Щось мов здавлене зітхане підіймає твої груди. А я сиджу і люблюся тобою.

— Любиш мене, Массіно? — по хвилевій мовчанці знов запитуєш ти.

— Манюсю моя!

І я обіймаю рукою твою талію і пригортаю тебе до себе, не встаючи з місця. Ти вся починаєш тремтіти. Твій віддих прискорюється, руки тремтять на моїх плечех.

— Та не вжеж се правда, Массіно, — запитуєш ти. — Невже ти любиш мене?

— Як же маю тобі се доказати?

— Як маєш доказати? — звільна, немов з розчарованем повторяєш ти і твій зір по над

мою голову блудить десь у далечині. — Як маєш доказати? Хибаж я знаю?

— Щасте, се факт, який не потребує доказу, — мовив я не випускаючи тебе. — Я щасливий.

— Ти щасливий, — повторила ти якомсь бездушно, мов луна. А потім обертаючи до мене очи, в яких раптом запалали якісь таємні іскри, ти запитала:

— А що таке щасте?

Я глядів на тебе. Мені було так любо глядіти на тебе, впивати ся твоєю красою. Се було мое щасте. Давати в тій хвилі філософічну дефініцію щастя видало ся мені профанацією сеї райської хвилі. Ти перша перервала її своїм сьміхом. Із подвіря забрызчав дзвінок...

Ти вибігла, щоб не вернути більше. А я сидів на веранді, кутив папіроску, пускав із неї дим тонкими клубками і плавав у рожевих хвилях роскоші дожидаючи тебе.

Дурень, дурень! Засліплений, егоїстичний дурень! І як я міг тоді не розуміти тебе? Як мое глупе серце не спалахнуло, як мої уста не крикнули, як мої руки, мої зуби не впили ся в тебе?

Аджеж я знаю, розумію тепер, що та хвиля рішила про мою долю. Що в тій хвилі я втратив тебе.

О я дурень! О я засліплений егоїст! Естетик убив у мні живого чоловіка, а я ще й горджу ся тим убитим трупом!

Маню, Маню, чи можеш ти дарувати мені непростимий гріх тої хвилі?

»Чи тямип ту сукню, що я в ній була вбрана того вечера? Червону в круглі, білі цятки. Вона в мене доси. Я бережу її як сьвятість, як найдорожшу памятку.

Вона нагадує мені ті остатні хвилі пробути з тобою. Буває так, що дивлячи ся сама на себе, згадуючи свої пригоди я починаю сумнівати ся, чи се я сама, чи може моя душа вийшла в якесь инше, чуже тіло. В таких хвилях та сукня дає мені живий доказ моєї тотожності.

Я цілую її і мочу сльозами. А знаєш, чому? У мене в голові повстала і мов цьвах сидить думка, що в тій самій сукні я маю знов появиити ся перед тобою.

Ось чому я бережу її як сьвятість. Вона для мене жива запурука кращої будучини.

Бідні ми сотворія з нашими сьвятоцями! Шмат старого полотна, засушене крило давно вбитої пташини, перед літами зівяла квітка, стара книга на давно забутій мові — а піди-ж ти!

Прикипить наше серце до такої бездушної річи, настелить на неї наша уява все найкраще і найстрашнійше, що має наша природа, — і ми носимо ся з тою річю, бережемо її, терпимо і бемо ся і вмираємо за неї!

А глянути з боку, нечутливими очима і невіруючим серцем — тільки засьмієш ся або плюнеш і відвернеш ся!«

»Як я сьміяла ся, як я сьміяла ся сідаючи на візок біля Генрися!

Голос дзвоника, се був наш умовлений сигнал. Я спакувала свої річи вже за дня і потайно передала йому. Він мав їх у себе на возику.

В своїм покою я лише написала татковій карточку: »Па, татусю! Їду на пару день до тітки до Городка. Дуже просила. Не турбуйтеся мною.« Положила йому на бюро і вийшла. Ані хмариночки жалю не було в душі.

О, пізніше, аж геть пізніше прийшла вона, але вже не хмариночка, а порядна осіння хмара, що затяглася на триденну — що я кажу! — на трилітню слоту!

Як я сьміялася виїжджаючи з рідної хати! Серце аж підскакувало, в грудях трепалося щось мов пташина, що виривається з клітки. Я горлячо стискала Генріся, що мав обі руки заняті, одною держачи віжки, а другою батіг. Я стискала його, цілувала, гризла з радості його рамя, мало не кусала його дівоче-невинне лице.

Гей, як би я була знала в тій хвилі те, про що дізналася троха пізніше! Гей, як би я була знала!

Ми заїхали до Городка на одинацятку. Саме пора була. Я зараз метнулася до знайомого Жиди, де звичайно ночували люди з нашого села. Сказала Жидови, що приїхала сама (нераз так приїжджала) і маю побути пару день у тітки. Чи не ночує у нього хто з нашого села, що завів би коні й візок назад до татка? І овісім, зараз знайшовся такий чоловік із нашого села. Я ще й тут написала татковій карточку і передала тим чоловіком. Дала йому корону. Втішився неборака, бо мав завтра пішки вертати три милі і тратити робучий день. Обіцявся, що лише попасе коні, зараз поїде до дому, щоб ранісінько бути на місці. Зорудувавши все я побігла на двірць залізниці.

Була крайня пора. Вже йшли сигнали, що поїзд рушив із Каменоброду. Ще пару мінут,

ми обоє з Генрисьом сиділи в окремім купе другої класи і всею силою пари гнали до Кракова.

Між нами все було уложене. Генрись мав у Кракові родичів. Його батько — маючий купець, визначний краківський міщанин, що власне купив село з показним шматом ліса і для того й сина дав на лісову практику. Батько хоче віддати йому се село в заряд і буде дуже рад бачити сина від разу женатим. Візьмемо шлюб у Маріяцкім костелі і по кількох днях гайда на село. Чудова підгальська околиця. Розташуємо ся, розгосподаруємо ся і зараз спровадимо до себе таточка. Ой, як гарно буде!

Генрись навмисно не хотів наперед говорити таткові нічого. Ми знали, що татко не спротивить ся моїй волі, а бачучи мене щасливою з Генрисем і сам буде щасливий.

От такі пляни снували ми до самого Кракова, переплітаючи їх рясними поцілуями, пестощами, реготом та поважними розмовами.

Генрись умів оповідати забавні анекдоти і коли лише бачив хмарку задуми на моїм чолі, зараз починав якесь веселе оповідане, щоб розсмішити мене.

В Кракові нас зустріла перша несподіванка. На двірці дожидав нас пан Зигмунт — Генрись казав, що се завідатель дому його батька. Що се за уряд такий, я не могла зрозуміти, тай не до того мені було. То був пан високий, сильний, плечистий як медвідь, з великою чорною бородою, з малими блискучими очима, з понурим видом, від якого віяло якимось холодом і жахом. Я відразу почула до нього антипатію. Але Генрись привитав ся з ним, як з добрим, любим знайомим і розмовляв щось довго. Я сиділа в ідальні і сні-

дала. Потім прийшов до мене Генриць і сказав, що його батьки виїхали до Варшави і веліли й нам зараз же їхати туди. Там у них велика фамілія і там має відбутися наше весілля. Пересидимо лише сей день у Кракові в готелі, бо їх власний дім виарендував на пару місяців пан граф Стенжицкий для якихось заграничних гостей. Се все сказав йому пан Зиґмунт. До мене він не зближався, завваживши мабуть, що я глянула на нього тим оком, що на пса. А на ніч, мовив далі Генриць цілючи мене в руку, поїдемо далі. Пан Зиґмунт вистарає нам пашпорти, і завтра повитаємо наших у Варшаві.

Я була не вважаючи на втому така щаслива і така весела, що навіть не пробувала розмірковувати ті історії. Я віддала ся Генрицьови в розпалі своєї пристрасти і мені байдуже було, де брати шлюб, у Кракові чи в Варшаві. Ми поїхали до готелю.

Я лягла спати. Генриць вийшов кудись. Прийшов аж на обід. Пообідали, попестили ся і Генриць знов пішов кудись. Казав, що має ще деякі інтереси полагодити. Вернув над вечір. Пашпорти для нас були вже готові, властиво один для нього »з жінкою«. Я кинулась йому на шию і почала пристрасно цілувати його, побачивши урядово затверджену ту свою титулятуру. Ми заплатили в готелі, поїхали на залізницю і за чверть години мчали ся поспішним поїздом до Варшави.«

Генриць, Генриць! Якось я мало тямлю його. Так собі, молокосос. Не любив глянути просто в очи. І хто-б його подумав, що він — —

А, правда! Старий лісничий поїхав був із дочкою до Львова. Два дні гостювали. Приїхали в трійзі, привезли отого Генрися. Старий дуже тішив ся, що знайшов такого гарного практиканта. Хлопець хоч до рани приложи. З дуже доброго дому. Має укінчену лісову школу. Сьвідцтва дуже гарні. За плату не торгував ся, бо казав, що має деяку поміч із дому, а бажає тільки практики.

Справді випрактикував гарно!

Старий любив його як свою дитину. Держав у себе в лісничівці. Водив із собою по лісі. Не мав, здаєть ся, перед ним ніякого секрету.

Цікава річ, що коли щезла донька і тиждень по її відїзді не було відомости від неї, і тітка з Городка на запитане відповіла, що Манюся зовсім не була у неї, і всякі пошукування через поліцію і жандармерію не дали ніякої вказівки крім тої, що Манюся і Генрись разом поїхали до Кракова, і коли показало ся, що Генрись у Кракові не мав ніякої рідні і нікому не був відомий, — коли показало все те, старий мов і зовсім забув про Генрися, жалував за дочкою, але не робив ніяких дальших старань, щоб віднайти її, а швидко й зовсім замовк, перестав говорити і видати ся з людьми, поки в початку зими не спочив у могилі.

Ну, ну, цікаво, чим то покаже себе той Генрись!

» Чи ти віриш у сні, Массіно?

Чи сніло ся тобі коли таке, що ти злякав ся чогось і втікаєш? А за тобою погоня. Якись вороги, якись скажені собаки, якись дикі зьвірі. Женуть що духу, з ріжних боків. Ти біжиш із

усеї сили, швидше, швидше, а вони за тобою. А з боків усе нові. Ось і з переду забігають. Ти в бік скачеш і знов біжиш. Рад би летіти, а тут у тебе ноги слабнуть, роблять ся мов оловяні. Щось немов хапає за них. Ти падеш, а під тобою земля провалюєть ся. Ти летини, летини у низ, і все ще чуєш за собою погоню. Секунда, друга, третя, а кожда довга як вічність а страшна як пекло. Ти ждеш, що ось-ось розібеш ся о щось тверде — і прокидаєш ся. Ти весь мокрий від поту, серце бєть ся швидко, дух у груди заперло, ти весь тремтиш і ще не знаєш, що се було перед хвилию, сон чи ява?

Чи переживав ти коли такий сон, Массіно? А тепер подумай собі, що такий сон з усіми його страховищами я переживаю отсе вже три роки. Не секунди, а тижні, місяці, роки. А в них кожда година здібна вбити живу душу.

А я жию, і як кажуть мої аматори, виглядаю нічого собі.

Я давно отупіла на всі страховища свого життя. Я відівчила ся плакати, відівчила ся жалувати, відівчила ся бояти ся чого будь.

У хвилинах, коли до мене вертала рефлексія і застанова, я все мала почуте, що кручу ся мов билина в вітрі і лечу кудись, лечу в якусь безодню, сама не знаю, що там на дні і чи далеко те дно.

Нічого не ощадила мені доля за ті три роки. Ані розчаровань, ані ганьби, ані богацтва ані бідности. Ще в остатніх місяцях ось тут у Порт Артурі порадувала мене стрічею з одним салдатом, що був родом із Томашова і часто бував на заробітках у Галичині і знав мого покійного батька. Порадувала мене доля стрічею з ним тільки на те, щоб я з його уст дізнала ся, що мій батько

три місяці по моїй утеці вмер і до смерти вважав мене злодійкою. Мене, Массіно! Мене горду, чисту, чесну і непорочну тоді!

Богом клену ся тобі, соколе мій, коли й до тебе дійшли такі слухи, що я втікаючи обікрала свого батька, не вір тому!

Богом клену ся тобі, я нічогосінько не знала про те, що його обікрадено. Аж геть пізніше дізнала ся...

Чи ж ти міг би припустити, щоб я тоді, в тій хвилі, коли розстала ся з тобою, могла була побігти просто до таткової канцелярії, розломати його бюро, виняти ключі до Ветргаймівки і забрати з неї скарбові гроші?...

Як бачиш, і того загробного батькового підозріння не оцадила мені доля!

А я все те витерпіла, Массіно! І навіть... мої адоратори кажуть, що й доси виглядаю не погано. Правда, вони тут під японськими кулями та гранатами не дуже перебирчиві.«

»Те, що я тут оповідаю тобі, се лиш ескіз, нарис, скелет моїх пригод. На докладне оповідане не стало б мені ані паперу, ані часу, ані сили.

Торкну ся тільки злегка наболілих струн, бо вигравши повний їх концерт можнаб одуріти.«

»Через російську границу переїхали ми без клопоту. Я троха бояла ся, та показало ся, що не було чого. Генрісь якось таємно моргнув на жандарма, що переглядав паспорти, сей лише заглянув у наші і віддав нам їх назад.

Зараз по виїзді з першої стації за границею до нашого купе ввійшов Зигмунт. Я здивувала ся. Я не знала, що він їде з нами. Але ще дужше здивувала ся, коли він зачав поводити ся з Генрисем не то як рівний з рівним, а як старший з підвладним. Він, що в Кракові мав вигляд не то льокая, не то економа, кланяв ся нам низько і силкував ся говорити солоденько, тепер плескав Генрися по плечи, щипав його в лице як дівчину. Я з разу визвірила ся на нього, та се було йому байдуже. Потім сказала Генрисьови навмисно так, щоб він почув: »Віддали сю льокайську душу!« Та вони оба лише розсміяли ся на сі слова і Зигмунт лишив ся далі в купе. Тоді я зо злости заплакала. Генрись заговорив до нього щось, здавало ся, по польськи, але так, що я нічогоісінько не зрозуміла, і він відповівши таким самим жаргоном вийшов із нашого купе і не показував ся більше.

— Генрися! — скрикнула я по його відході тулячи ся до свого милого і вся тремтячи зі зворушення. — Хто сей чоловік? Я бою ся його. Чого він хоче від нас? І як він сміє говорити з тобою так як зі своїм слугою?

— Алез дитино! — заспокоював мене Генрись. — Се мій вуйко, брат моєї мами. Дуже маючий обиватель із Любельського. Бездітний чоловік.

— Чомуж ти не сказав мені сього швидше? По що ти представляв мені його як завідателя свого дому?

Генрись зачервонів ся, та зараз же сказав:

— Бачиш, Манюсю, він у Австрії чимось екомпромітований і був там і сьогодні за паспортом нашого управителя.

Я так мало знала світа, Массіно! Виросла в лісі, при мамі і при батькови, серед добрих, чесних, недосвідних людей. У моїй душі щось бунтувало ся проти Генрисьових слів, але уста не вміли відповісти нічого. Своїми жартами та поцілунками він заспокоїв мене.

Я лягла на софку в купе і заснула і не прокинула ся аж тоді, як ми в'їхали на варшавський дворець.

Ми заїхали до готелю. Заночували я й Генрись у однім покою, а Зигмунт у сусіднім. Рано снідали разом. Потім оба вони вийшли, велівши мені сидіти в покою і не виходити нікуди.

Я дістала якусь книжку і взяла ся читати. В полудне прийшов Генрись. Ми пообідали якось мовчки, бо він був дуже втомлений. На мої питання відповідав коротко і неначе нерадо. По обіді вийшов, не кажучи, куде йде. Вернув аж пізно в ночі. Мені здавало ся, що був троха п'яний. На мої питання не відповідав нічого. Швидко заснув. Зигмунта того і пару дальших днів я не бачила.

Другого дня знов те саме. Третього знов. На питанє, колиж підемо до родичів, Генрись усміхав ся якось дивно, жартував якось дико, цинічно, або відмовчував ся, мов і не чув нічого. Я плакала цілими днями.

Ріжні фантастичні думки приходили мені в голову: телеграфувати до тата, піти на поліцію і допитати ся самій до Генрисьових родичів. Але я була немов зломана непевністю. Бояла ся вийти на вулицю. Бояла ся всіх у готелі і звичайно сиділа замкнувши ся.

Одного вечера пізно вже прийшов Зигмунт і припровадив Генрися п'яного до безтями.

— Боже мій! скрикнула я. — Вуйцю, що йому таке?

Зигмунт зареготав ся.

— Що я вам за вуйцю? От постеліть тому хлопчиськови. Бачите, як зтрубив ся.

Генрись кинув ся на софу і захріп від разу.

— Ви не вуйцю? Хтож ви такий?

— Я такий самий, як і ваш Генрись.

— Такий самий?... Що се має значити? Який же він?

— Такий як я.

— Хто ви такі?

— Хибаж він не казав вам того? Держить вас доси х дитячій невинности? Ге, ге, ге! Ми, панно Маню, треба вам знати, такі добродіньці людськості, що вменшуємо багатим людям клопоту.

Я витріщила на нього очи. Він розреготав ся і зробив рукою зовсім недвозначний знак, як витягають щось із чужої кишені.

Я вся поблідла. Хотіла кричати, та щось у горлі здавило. Потім побігла до другого покою і пробувала повісити ся. Та Зигмунт почувши, як я тріпала ся на шарфі, прибіг і відрізав мене вже зовсім непритомну.»

» Два тижні я лежала хора. Генрись уже не лишав мене в день, але сидів при мені, пильнував мене. Тепер уже не грав зі мною комедії, говорив по щирости. Він був не злий хлопець з природи, але бездонно зіпсутий. З малку вихопивши ся з батьківського дому пройшов усю зло-

дійську школу на варшавськiм бруку. У мене серце хололо, коли я слухала його оповiдань.

Пробувши мiсяць у Варшавi ми виїхали на »турнe«, як говорив Генрись. До Лодзi, Домброви, Радома i інших мiст. Ми двоє, Зигмунт i ще кiлька зовсiм темних фiгур, що приходили часом у ночі до нашої квартири, говорили щось своїм незрозумiлим злодiйським жаргоном, дiлили ся здобичею i знов розходили ся. Зигмунт був проводирем тої шайки, укладав пляни, роздiлював роботу, контролював виконане. В разi непослуху або недбалства був страшенно злий i острій.

З часом почав i мене втягати в свої пляни. Я мусiла одягати ся в яркі сукні i ходити з Генрисьом на прохiд по при вистави i склепи, де було багато панства. Я мала звертати на себе увагу i приманювати багатих паничiв, а члени шайки пниряли в юрбi i »працювали«. Я знала се, Массiно! Моя душа бунтувала ся, та про те мої уста всьмiхали ся. Я чим далi тим бiльше пiдлягала якiйсь магiчній, демонськiй силi Зигмунта. В мiру того, як ми жили разом, Генрись якось блiд i затирав ся в моїй душі. Виявляла ся вся його нiкчемнiсть, i я не звертала на нього нiякої уваги. Зигмунта я бояла ся, але його сила, iнтелiгенцiя й енергiя iмпонувала менi.

Тямлю, се було в Дорпатi. Генрися вхопили на горячiм i арештували. Я сидiла в готелi, коли до мене прибiг Зигмунт.

— Панно Маню, одягайте ся в що маєте найкраще. А не забудьте чисту бiлизну!

Я витрiщила на нього очі з нiмим запитанем.

— Не глядiть на мене, як теля на новi ворота! — гримнув він остро. — Генрись ареш-

тований. Поки ще сидить в участку і не відданий до тюрми, ви можете виратувати його.

— Я?

— Так. Ось вам 50 рублів. Се для пристава. І просіть, щоб вас запровадив до поліцмайстра, якого ви попросите особисто. Розумієте? Так і скажіть: Особисто! А живо!

За десять мінут я сиділа в дорожці... За годину Генрись був на волі.

Адже догадуеш ся, якою ціною?

Того вечера я другий раз пробувала повісити ся, але знов Зігмунт відратував мене. Він очевидно відчував, що кипить у моїй душі, і пильнував мене, хоч удавав, що не звертає на мене більш уваги, як на всякий иньший знаряд своєї волі.»

»Наша тура по російських містах потягла ся довго. На весну ми злетіли до Одеси.

Тут мій Генрись пропав. Зігмунт казав, що його піймали на крадіжці в кораблі і не багато питаючи завязали в мішок і кинули в море. А я думаю, що швидше він сам спрятав його. В останніх часах він чим раз дужше сердив ся на нього.

— Ну, Маню, — заявив мені одного вечера, — ти тепер моя.

Я видивила ся на нього з тривогою, але чула себе до тої міри в його власти, що не посміла противити ся.

— Той молокосос не варт був одного волоска з твоєї пишної коси, — мовив він притискаючи мене до себе. — Я тобі покажу, як любить муж.

Дивна річ. До тої хвилі, коли Зігмунт

являв ся передо мною як ватажок, як командант, окружений тайною і недоступністю і якимось німбом неминучого фаталізму, доти його постать заслоняла всю мою душу і мені іноді здавало ся, що я моглаб полюбити його. Але тепер, коли він показав ся передо мною як мужчина, негарний з лица, старший літами, з грубими, малокультурними привичками та манерами, я по кількох днях почула до нього погорду, обриджене, а далі смертельно ненависть. За те, що він силкував ся показувати мені свою любов, переслідував, мучив мене нею.

І в міру того, як я гордувала ним, ненавиділа його, знущала ся над ним, він усе м'як та м'як, запалював ся дужшою пристрастю до мене, тратив свою волю й силу.

— Маню, — кричав нерозумно у п'янім стані, коли ми були самі, — ти доведеш мене до того, що я тобі й собі зроблю кінець.

— Овва, — відповідала я здвигаючи плечима, — про себе мені байдуже, а про тебе ще більше.

В Нижнім Новгороді в часі весняної ярмарки його арештували на значній крадіжці. Він не признав ся до мене і мене не чіпали. Я мала дещо гроший і перший раз почула себе свобідною. Та я була вже зломана, приборкана своїм дотеперішнім житєм. Що з собою робити? Куди подати ся? Я не знала. Вертати до дому? До кого? По що?...

Я взяла білет і поїхала до Москви. Чого — й сама не тямала. Думка була, що там знайду десь якийсь місце, де зможу притулитися. По дорозі, в залізничім вагоні зо мною познайомив ся молодий залізничий інженер, що їхав до Іркутська, а відси мав їхати далі, за Байкал, до будови зе-

лізниці. Ми розговорили ся — і швидко зговорили ся. Він був чоловік нежонатий, ішов на добру плату в далекі, некультурні краї. Я не багато й надумувала ся, кола він предложив мені їхати з собою.

Володимир Семенович був чудовий чоловік. Стільки смирности, делікатности та виrozumілости я ще не стрічала у мужчини. Від першої хвилі знайомости я говорила з ним свобідно, як із старим добрим знайомим. Він услугував мені, упереджав мої бажаня, дбав за всі дрібниці в дорозі і на квартирі, як добра мати. Я дивувала ся нераз, відки в Росії беруть ся такі мужчини.

Та швидко мені довело ся пожалкувати, як вони пропадають — як скоро і як глибоко падають!

Ми зупинили ся в Іркутську. З разу на тиждень, поки не надійдуть інструкції з Петербурга. Та минув тиждень, минув другий, ба місяць і два місяці, інструкція не приходила. Пенсію мойому Володі платили і то дуже гарну, а роботи не було ніякої, веліли ждати.

Ось тут я пізнала його з иншого боку. Свої медові дні ми пережили швидко, а потім він зачав нудити ся зо мною. Ми переговорили все, що могло цікавити його, та швидко обоє наткнули ся на такі теми, про які не хотіло ся говорити. Книжок не було, товариства не було. На сьвітні сніги, морози, метелиця. Швидко мій Володя почав виходити по обіді з дому і вертати аж вечір п'яний. З разу соромив ся того, але потім перестав і перепрашати мене.

В п'янім стані він робив ся зрештою дуже милий. Жартував, сьміяв ся, оповідав анекдоти. Тільки по невчасі я дізнала ся, що в тім стані до нього присідаєть ся ще одна відьма — карти.

В п'янім стані його опановувала пристрасть грача і тоді він готов був програти все що мав.

За пізно я дізнала ся про сю його хибу — аж тоді, коли він програв — мене саму.

Се так було. До Іркутська приїхав дець із далекої Сибірі багатий золотопромисловець Сьветлов. Чоловік не молодий уже, із тульських купців, богач страшенний. Дива оповідали про його жорстокість і багатства. Між іншим він був великий аматор жінок і в кождім своїм заводі, яких мав кільканацять по над Байкалом, держав, казали, цілі гареми. Побачивши мене з Володею дець у якімось товаристві і розвідавши, що я не шлюбна жінка, він почав міркувати, як дістати мене в свої руки. Швидко він розвідав Володину вдачу, підпоїв його, завабив до карт і обіграв із усіх гроший. Розпаленому програю позичив невеличку суму гроший. Володя знов програв. Сьветлов позичив йому ще раз — знов програв мій Володя. Тоді Сьветлов запропонував Володі грати на мене: коли Володя виграє, пропадають усі позички Сьветлова, а як виграє Сьветлов, то бере собі мене.

Розумієть ся, Сьветлов виграв.»

»Тямлю як нині ту сцену, Массіно! Ніч. На дворі фуґа, вітер вие. Я сиджу при лампі за якоюсь роботою і жду на Володю.

Стукане. Входять. Не сам Володя, а ще якісь грубі голоси. Я так і завмерла зо страху. Якесь нещасте!

Входить Володя, а за ним велитень у медвежій футрі, з широкою рудою бородою, з товстим

червоним лицем і плескати носом. А за ним поліцмайстер і кілька ще якихось панів.

Я встала і обернула ся лицем до них. Володя підходить до мене нетвердим кроком. У нього сльози на очах.

— Манюсю, — мовить і уриває.

Потім узяв обі мої руки в свої долоні, поцілував їх, а потім замахнув ними і вдарив себе з усеї сили по щоках — раз, другий, третій...

— Манюсю, я підлий, я негідний! Я програв тебе в карти. Отсьому... Ніканору Ферапонтовичу програв.

І показав на велетня, що розтягнувши своє лице в шир якимось нечувано широким усміхом, підійшов один крок ближше до мене.

— Так-с! Ми мали честь і приємність, — промовив він кланяючи ся незграбно.

— Чогож панове хочете від мене? — запитала я ледви чутно зі зворушення.

— Манюсю, забудь мене, підлого! — благав ридаючи Володя. — Не варт я тебе! Одного пальчика твого не варт. Наплюй на мене! Відверни ся від мене! Я не твій, а ти не моя.

— Дуже просимо вашої милости, — говорив до мене всьміхаючи ся рудий велитень. — У нас вам, Марія Карловна, добре буде. Я чоловік хрещений і до вашої милости, сказати вам, усею душею і всім серцем.

— Алеж я вас не знаю і не хочу! — скрикнула я до нього.

— По найомимо ся, Марія Карловна, се діло не довге. І охота прийде. Милости просимо не гаяти часу, бо завтра нам треба в дорогу. Пакуночки свої, що вам потрібно, звольте забрати. Тут у мене й повіз на вулиці.

— Ні, пане! — мовила я рішучо. — Я не розумію того всього і прошу вас дати мені й мійому мужови спокій.

— Милости просимо, Маріє Карловно, — мовив незрушеним солодким тоном Сьветлов, — не сердити ся і не супротивляти ся. І не забувати, що ви в Сибірі, а не в вашій еретицькій Німеччині. Ми ще тут, Богу дякувати, живемо в страхі божім і в послузі і маємо способи уговкувати непокірних. Ось мій кум, його високоблагородіє пан поліцмайстер може в разі потреби поговорити з вами троха інакше.

Поліцмайстер, що доси держав ся якось у тіни за велитенською фігурою Сьветлова, виступив наперед і запитав мене коротко:

— Ви знали Зигмунта Зембецкого? Знали, правда? Не перечите. Він тут у нас у острозі і ми можемо поставити вам його до очий. І коли не хочете завтра сидіти в острозі разом із ним, то не робіть комедії і слухайте Ніканора Ферапонтовича. Се вам моя рада і мій розказ...

На другий день, позавивана в шуби та в медвежі шкіри я з Ніканором Ферапонтовичем їхала вже на схід, далеко на схід у безмежні снігові простори Сибірі.

»Микола Федорович конає.

Перед моїми вікнами тільки що луснула японська бомба і знесла шів даху з будинка. Ані одної шибки цілої не лишила. Що то буде далі?

Щось немов стоїть за моїми плечима і торкає за руку і шепче:

— Швидше! Швидше! Кінчи!

Куди швидше? До якого кінця гонять мене невмолима доля? Чи під бомбу, чи на дно моря, чи до якоїсь таємної фірочки, якою ще сьогодні, ще завтра можу висмикнути ся на вольний сьвіт, на краспу будучину, а після завтра вже не можна буде?

Массіно мій! Я ні про що не думаю, лише про тебе. Думка про тебе додає мені сили і певности серед отсього пекольного життя. Чи що роблю, чи куди ходжу, все мені здаєть ся: се лише для одної ціли здале, щоб вернути туди, до рідного краю і побачити його. А яке буде наше бачене після всього... всього того, що ось тут стоїть як ряди мерців на отих картках?

Дарма! Не думаю про се.

Швидше, швидше до кінця, будь він собі який хоче!*

»Ніканор Ферাপонтович був для мене дуже добрий. Про те грубість його натури і неотесаність його поведінки збуджувала в мені обриджене, тим більше, чим більше він силкував ся надати їй вигляд цивілізованих манер.

Боже мій, коли подумаю про ті три місяці проведені з ним...

Та ні! По що тобі моїх вражінь, моїх гірких досвідів оплаканих кровавими слізмами? Швидше, швидше до кінця!

Весною коло самого Красноярска, коли ми обоє їхали на якийсь його завод, на нас напали бродяги. Мабуть довго засідали ся на нього. Мабуть візник був у змові з ними. Досить: ідемо лісовою просікою, нараз гов! Коні стають, і де

нас з усіх боків тиснуть ся страшні, кудлаті обличчя, блискотять ножі, револьвери...

Ніканор Ферапонтович боронив ся. Був страшенно сильний. Та з самого початку борні один бродяга віпхнув йому свій ніж між лопатки. Він рванув ся і ніж лишив ся в тілі. Доки ніж був у тілі, доти Ніканор Ферапонтович боронив ся. Кидав напасників як снопи, ломав їм ноги копняками своїх здоровенних чобіт. Та коли бродяга підсунув ся з заду і вирвав ніж із рани, Ніканор Ферапонтович швидко ослаб і покотив ся до долу.

Мучили його страшенно... Знущали ся над ним, поки не сконав.

Я сиділа в повозі як труп і гляділа на се трупячими очима.

Потім ми поїхали. Хто такий? На кізлі сидів инший візник, а обік мене в футрі Ніканора Ферапонтовича — Зигмунт.

— Цілий місяць полюємо на тебе, — сказав він коротко. — Ну, Богу дякувати, нарешті спіймали.

На лісовій поляні була нарада. Боже мій, які лиця! Які фігури! Які голоси!

Ділили добычу. За мене зчинила ся бійка. Зигмунт доказував, що я його жінка, але там, у сибірських лісах сей доказ не мав ніякої ваги. Я дістала ся ватажкови. Його звали коротко «Сашка», але хто він був, якої народности і якої віри, сього не знав ніхто і до сього було всім байдуже.

Мені здаеть ся, що він був Жид.

Зигмунт покинув ватагу, шепнувши мені на відхіднім:

— Не бій ся.

По двох тижнях ватагу в її лісовій криївці

обскочили три роти солдат. Сашку на місці повісили. Інших позаковували.

Мене взяв капітан. Зігмунта, що припровадив їх туди, закували разом з іншими. Більше я не бачила його. Ніч нас звела, ніч розвела, і для мене він лишився страшним виплодом ночі.»

»Переводжу дух. Згадую...

Оте, що тепер прийшло, майже рік, се було найтяжше, найстрашніше з усього, що я зазнала в життю.

Ані побут між злодіями, ані блукане по сібірських тундрах, ані жите в тайзі серед бродяг не було для мене так страшно та погане, як жите в домі капітан-ісправника Серебрякова.

У нього була шлюбна жінка, зла як гадюка, але загукана ним, держана в страсі і вічних побоях. Подумай, як то було нам жити обом?...

Капітан раз у раз пив, а в п'янім виді бив нас обох не розбираючи.

Дні й ночі минали мені як у найтяжшій каторзі.

Нарешті я втекла від нього. Хотіла йти в Байвал утопити ся, та натрапила на поїзд, яким їхали війська на війну з Китаєм. І поїхала з ними. Мені байдуже було, з ким...»

»Страшна була ніч. Бомбардоване сильніше, як коли будь доси. Здавало ся, що все місто розторощать на порох.

Микола Федорович умер. Ховають його з парадом.

Сьогодні тихо. Штурм відбито. Обі сторони ховають убитих та перевязують ранених. Як би ти бачив, що криють ся в сих худеньких, невидних словах!...

Китаєць говорить мені :

— Ся ніч — почта поїхав.

Кінчу сей лист. Досить. І так усього не переповісти. А маеш доказ, що я не хотіла утайти від тебе нічого.

Прощавай! Любий мій!... Та ні, не буду розжалоблювати себе.

Адже побачимо ся... як не тут, то там? Віриш у бачене там? Я вірю. Здаєть ся, що як би на хвилю перестала вірити, то здурілаб, руку наложилаб на себе. А може ся сама віра — симптом божевілья?

Прощай! Гармати грають. Чи новий штурм? Іду над море, щоб передати лист Китайцеві. Щез раз прощай! До побаченя.

Твоя

Сойка. <

І се має бути правда? Ні, ніколи!
Глупа, романтична дівчина повідумувала,
щоб — —

Та що се я?
Три чверти на дванадцятю! Господи! А я сиджу над сям листом і весь замочив його сльозами!

Цілу годину просидів сам себе не тямлячи. І плачучи. Що се зо мною дієть ся?

Новорічна година наближаєть ся. Чи так то я надіяв ся зустрічати її?

Де мої сподівані радощі! Де мої естетичні принципи? Де мое тихе задоволене! Пропало, пропало все! Ось де жите! Ось де страждане! Ось де боротьба і розчарованя і безмежні муки і крихітки радощів, задля яких і безмежні муки не муки!

Що таке чоловік для чоловіка? І кат і бог! З ним живеш — мучиш ся, а без нього ще гірше! Жорстока, безвихідна загадка!

»До побаченя.« Так вона кінчить. Та не вжеж се можливе? Не вже для нас, розділених так многими могилами, є якесь побачене? Ні, не вірю!

А понад ті могили пливе рікою одно велике неперерване страждане. І мучить нас.

До побаченя, серце! Приходь, приходь! Що вратувало ся переходячи через стілько могил, що лишило ся живе в наших серцях по стільких руїнах — нехай живе! Нехай надїеть ся!

Та ні, мабуть не для нас надїя! Не для нас весна. Ми змарнували, поховали її. Нашої весни не воскресить ніяка сила!

Де ти тепер? Чи все ще там у тім кровавім Порт Артурі, серед ранених та призначених на загибїль, сама носячи своє велике кладовище в серці? Чи може давно вже твої кости розмиває бурхливе Жовте море?

Чи може знов доля викинула тебе в широкий сьвіт, у сибірські тундри, в китайські брудні передмістя, вкинула в болото і граєть ся тобою, як забруканою, попсованою забавкою, поки не кине десь на сьмітнику? Голубочко моя! Де ти, озови ся! Нехай у сю новорічну годину хоч дух твій перелине через мою хату і торкне мене своїм крилом! Нехай його подих донесе хвилю дійсного, широкого, многостраждущого жита в мое слима-

кове, паперове та негідне істноване! Може й я
прокину ся і стрясу з себе ті пута і рвану ся до
нового життя!

Дзінь-дзінь-дзінь!

Дзвоник у передпокою! В сю пору?

Що се таке? Телеграма?

Івась мабуть спить уже?

Та ні. Чую, відмикає.

Якийсь гомін! Що се? Хто се? До мене?

В таку пору?...

Кроки в сальоні.

— Се ти, Йвасю?

— Я, прошу пана.

— Ти ще не спав?

— Ні, прошу пана. Читав доси.

— Що там таке?

— Якась пані в передпокою. Конче хоче
бачити ся з паном.

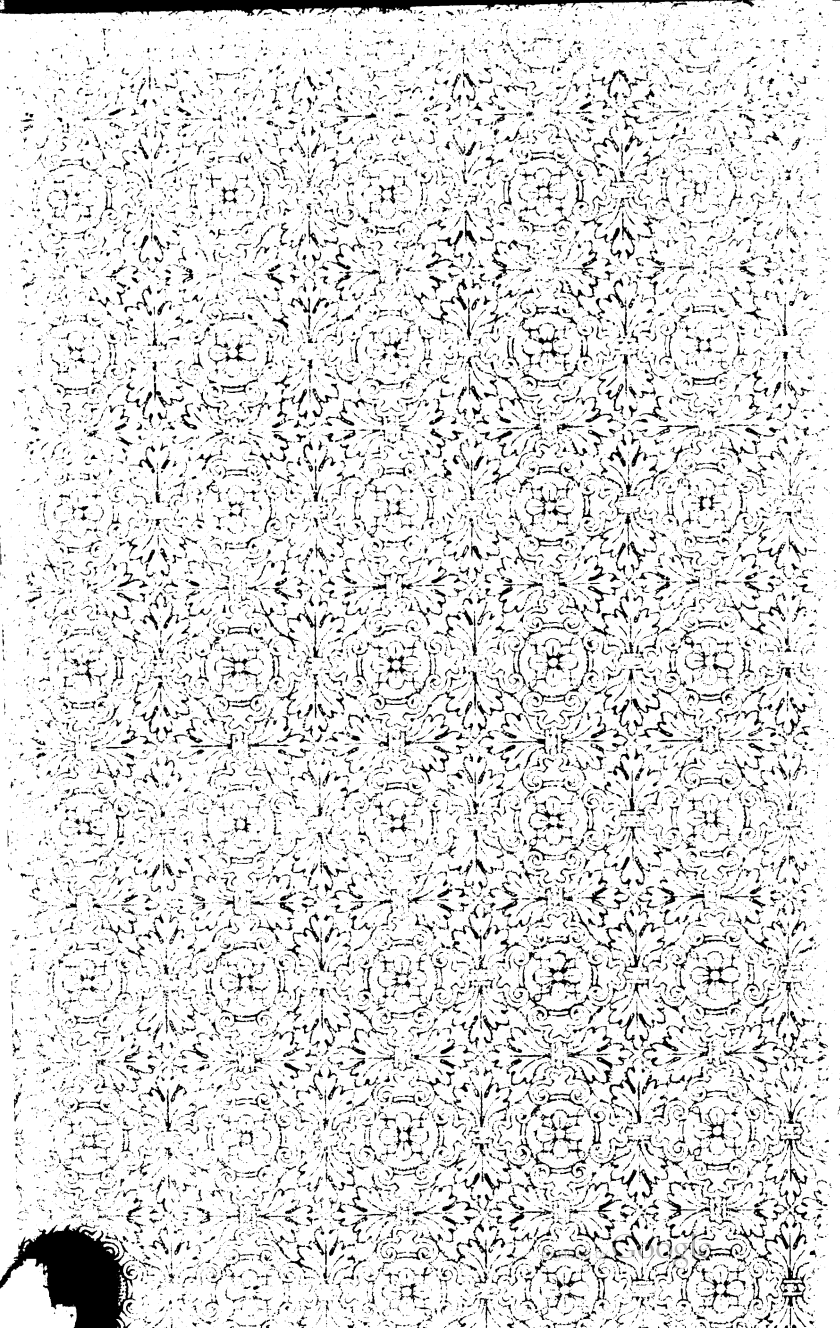
— Пані? стара? молода?

— Не знаю. Завельонована. Я перепрашав —
не хотіла йти. Зкинула футро. Там холодно, а вона
сидить у такій легкій сукні, червоній з білими
пятами...

— Преси!

В лютім 1905.







3 2044 048 076



